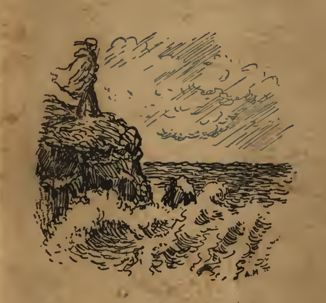
Лев Кассиль

ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ



СП

ЛЕВ КАССИЛЬ

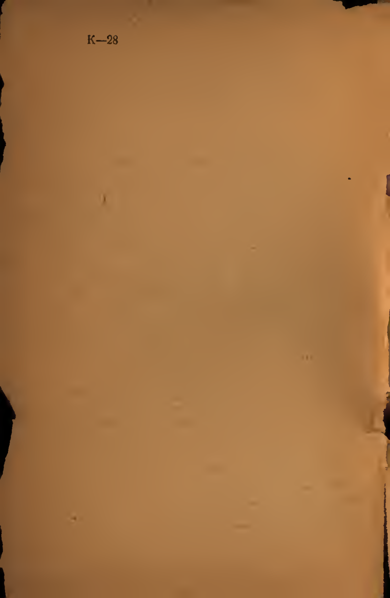
ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ

Рассказы

Я знаю —
город будет,
я знаю —
саду цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

(Вл. Маяковский)

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Москва — 1943



«Нелюдимо наше море...»

С первой же минуты пребывания на флоте Зинаида Павловна почувствовала, что с Димитрием не все ладно. Стоило лишь ей спросить у окружающих про мужа, как скрытое смущение облетало непроницаемые лица моряков. С ней начинали говорить так осторожно, участливо и предупредительно, словно обращались к жене тяжело больного или, еще страшнее, к вдове...

— Товарищи, вы скажите правду,— в десятый раз допытывалась она. — Случилось с ним что-нибудь? Он что, ранен?.. Или, может быть...

— Чего там может быть? Здоров, живехонек, цел и невредим. И вообще бросьте вы все это.

— Значит, точно?.. Я еду на мыс Крайний?

Командующий озадаченно усмехнулся и посмотрел на сидевшую перед его столом маленькую женщину с простой и гладкой прической. Яркий и мягко очерченный рот женщины по-детски кривился от обиды, узкие прямые брови круто разлетелись к вискам, большие серые глаза с немного подтянутыми вверх уголками смотрели упрямо, настойчиво и не моргая. Командующий невольно отвел взгляд.

— Никуда вы не поедете.

— Да почему?

— Почему, почему... Я уже, кажется, докладывал вам, что это за место — мыс Крайний. Вот уже двадцать месяцев, как полуостров отрезан и торчит у немцев, как кость в горле. Клочок суши. С трех сторон — море, с четвертой — враг. Валуны, болота, мхи, скалы, пурга. Часовые к столбу себя ремнем пристегивают, а то в море снесет. И вся эта милая природа насквозь простреливается. Добираться морем надо, а у немцев на берегу весьма приличные батареи. И с воздуха долбят изрядно.

— Погодите. Люди там живут? Почему же мне нельзя?

— Здравствуйте! Опять почему... Вы, верно, все-таки не совсем хорошо себе представляете, что такое полуостров Крайний. Вот мы с вами сейчас тоже не в тропиках как будто, а уж там совсем край света. Да и немцы там рядом. А они вряд ли будут соблюдать тишину, даже если представить себе, что они уважают ваше пение. Словом, что там толковать, эта семейная прогулка не для вас. Не поедете.

— Поеду.

— Ну, положим, если я не подам команды, так никто вас не возьмет.

— Товарищ командующий, ну я вас просто очень, очень прошу. Я же совершенно не боюсь.

— Зато я боюсь. Как, устраивает это вас?

— Трогает, умиляет, но ни в какой мере не устраивает. Я же знаю, что вице-адмирал Головин всегда боится за других, а сам так при любой опасности готов первым...

— Отставить, отставить,— прервал ее коман-

дующий, покривившись.— Это что, взятка добрым словом?

— Как не стыдно! Я приехала к вам сюда, на флот, выступала на кораблях, на базах, на подплаве, а вы не можете мне сделать простейшее одолжение. Поймите вы, я мужа не видала с первого дня войны. Узнала, наконец, где он, хочу выступить там для него, для товарищей, а вы... Неужели капитан Батыгин не заслужил свидания с женой? Ведь он хорошо воевал, отличался, правда?

— Ну, правда,— сказал командующий.

— И я знаю, что у вас там праздник в части. Юбилей какой-то.

— Ну, годовщина.

— Ведь хор ваш едет? Вот и я с ним. Я же сколько раз выступала на фронте. И под Воронежем была, и на Кавказе... А тут, пате пожалуйста, не пускают. В конце концов, вы должны понять, если любите свою жену... У вас есть жена?

— Есть. Но я бы ее туда не пустил. Так что она не очень удачный аргумент.

— Ну и не пускайте свою жену на здоровье. А я жена капитана Батыгина.

Лицо командующего стало напряженным.

— Да,— проговорил он негромко и нахмурился.— Жена капитана Батыгина. Не знаю, скажет ли мне спасибо капитан Батыгин, если я вам разрешу ехать на мыс Крайний.

— Будьте покойны.— Артистка решительно тряхнула головой.— Не знаете, должно быть, вы капитана Батыгина, товарищ вице-адмирал.

— Ну, где уж мне его знать,— сдержанно

проговорил командующий и искоса поглядел на стоявших поодаль командиров.

Лица моряков оставались официальными, но снова еле заметная тень какой-то неловкости скользнула по ним и тотчас исчезла.

— Ну что же,— командующий встал,— раз уж вы так настаиваете, добро. Товарищ Гурский, дайте там команду, чтобы артистку Батыгину взяли к вам на борт. Вы, кстати, поторопитесь, Зинаида Павловна, поедете ночью. Надо проскочить до рассвета. Я распоряжусь, чтобы вас там устроили. Конечно, не взыщите, уют у нас весьма относительный. Рыбачий бот, сами понимаете.

Артистка, вскочив, порывисто схватила его за руку.

— Товарищ командующий, честное слово, если бы вы были хоть чуточку меньше рангом, я бы вас расцеловала...

— А вы позволяете себе такие проявления благодарности, интересно знать, до какого звания? А то, пожалуй, я капитана Батыгина больше и производить не буду. Ну, добро. Счастливого вам ветра.

Когда Батыгина вышла из кабинета, командующий отозвал Гурского в сторону.

— Вы там проследите, чтобы ни малейшей болтовни не было при ней. И Корчеванову передайте мою просьбу. Понятно? Знаю, что не следовало бы разрешать. Но она уж очень рвется. Да и у вас у всех физиономии такие постные делаются, чуть она про мужа заговорит, что она, бедняжка, верно, уж невесть что подозревает. Как у вас там, кстати, Батыгин?

— Да уж известно, как Батыгин, товарищ вице-адмирал.

— Да... известно, как Батыгин,— медленно повторил командующий.— Вы там поосторожней, когда подходить к мысу будете. Возьмите мористей, а то как бы не зацепило. Как сейчас, садят здорово?

— Постреливают,— равнодушно отвечал Гурский.

До комендантского часа оставалось очень мало времени, и Батыгина, выйдя из штаба, поспешила в Дом Флота.

Свет в пустом зале был притушен. Только на сцене горел один софит. Там репетировал краснофлотский ансамбль, и в сумраке зала глухо и таинственно рокотали густые голоса коренастых басов.

...Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно,
В роковом его просторе
Много бед погребено...

В темном партере, во втором ряду с края, прикорнул маленький невзрачный и словно зазябший человек в стеганом ватнике и пестрой летней кепке. На его сморщившемся лице сонно наплыли мешочки под припухшими глазами. Это был баянист Илья Герасимович Кляпиков — аккомпаниатор Батыгиной.

— Ну, Илюша, собирайтесь. Командующий разрешил, ночью уходим.

Баянист приоткрыл глаза и, покорно моргая, посмотрел на певицу.

— Это куда еще?

— На мыс Крайний.

— А чего мы там не видали?.. Качать, небось, будет. Все кишки вымотает. У меня, Зинаида Павловна, натура этого совершенно не терпит. У меня от вашего окаянного моря и так вся психика в глотку лезет.

— В пятки она у вас лезет, а не в горло, Илья Герасимович.

— Ну уж это,— разобиделся Кляпиков,— это, Зинаида Павловна, я сам разбираться буду, где у меня психика. Ни к чему разговор такой, считаю. Кажется, мне с вами не впервой боевую обстановку терпеть. Помните, когда под Воронежем были?.. Но только, скажу вам, на этот раз зря, Зинаида Павловна. Ведь этот самый полуостров Крайний, говорят, последняя остановка уже перед Северным полюсом.

— Надо будет, и на Северный полюс поедем. Собирайтесь, собирайтесь. Я вас жду внизу.

А на сцене гудели низкие голоса:

Смело, братья, ветром полный,
Парус мой направил я,
Полетит на скользки волны
Быстрокрылая ладья...

Илья Герасимович вздохнул, снял кепочку, поскреб мизинцем лысеющий затылок и, зная, что спорить с Батыгиной в таких случаях бесполезно, пошел собираться. По дороге он все-таки решил выяснить у моряков некоторые подробности, касающиеся предстоящего путешествия.

— Ну как, стреляют там? — спрашивал он заискивающе.

— Популивают,— отвечали моряки.

— И что же... попадают?

— Раз на раз не приходится.

— Нехорошо. Главное, плавать-то я не очень силен.

Сведения, которые он собрал, были крайне неутешительны. Идти морем много часов, болтает порядком, немцы простреливают залив. Вода очень холодная.

Грузились ночью в полной темноте. Только изредка вспыхивали ручные электрические фонарики, вырезая на темной палубе бота круглые скользящие просветы с радужными краями.

Артистку устроили в маленькой каюте командира. Илья Герасимович улучил момент и вкрадчиво осведомился у Гурского, сколько времени они пройдут до полуострова. На это командир ответил уклончиво, сказал, что Илья Герасимович может не беспокоиться, мимо он не проедет и когда надо будет сходить, ему скажут.

На палубе сняли чехлы с пулеметов, придвинули к ним патронные ящики. Люди двигались молча, а если говорили, то негромко, односложно, и чувствовалось во всем, что дело предстоит серьезное. Тьма полярной ночи, в которую ушел, скрипя и вздрагивая от стукотни дизеля, маленький корабль, таила в себе что-то опасное и враждебное. Только в кубрике, где разместились певцы и танцоры краснофлотского ансамбля, не умолкал веселый говор и смех молодых моряков, привычных к таким походам.

— Эй, рашпиль! — слышалось из кубрика. — Подсаживайся, сшибемся в козла.

— Гришенька! Сидоренко!.. помнишь, как на Териберку ходили?

— Еще бы ему не помнить! Он с тех пор почихаться не может, как пешком по морю пошел.

Больно ему на берег сойти не терпелось, медсестру эту повидать... как ее, Лидочку, что ли?

— Может, ребята, хватит травить?

Скоро туда зазвали уже немного укачавшегося Илью Герасимовича, которого краснофлотцы, несмотря на его постоянное ворчание, успели полюбить за виртуозную игру на баяне.

Бот вышел в открытое море. Его стало класть с борта на борт. Зинаида Павловна пристроилась на узкой койке. Сердце легонько оседало от качки, и какая-то пустая тяжесть перекатывалась по всему телу, вваливаясь то в ноги, то в голову. Скрипели переборки, и сквозь ровное урчание дизеля под палубой Батыгина слышала тихие всхлипы баяна. Это Илья Герасимович, превозмогая дурноту, играл в кубрике краснофлотцам свой любимый старинный вальс «Осенние грезы».

Она проснулась от топота над головой и от резких сухих ударов, которые слышались за бортом. Ярко, светлее прежнего, горела лампочка в потолке каюты. Пол дрожал от напряженной работы двигателя, и во всем — в голосах, доносившихся с палубы, в учащенном стуке дизеля, в напряженном свечении лампочки — сквозила тревога.

Батыгина бросилась к крутому трапу, ведущему наверх. Но голос Гурского предупредил ее:

— Оставайтесь внизу. Нельзя.

— А что случилось?

— Пока еще ничего не случилось. Зону проходим. Вы спите, спите, это бывает.

— А посмотреть мне можно?

— А смотреть нечего, мало что разглядите. Вы вот лучше свет выключите в каюте, а то как бы сквозь люк не просочилось.

Зинаида Павловна со стремительностью, которая ей самой показалась постыдной, повернула выключатель. В каюте стало абсолютно темно. Но вдруг короткий свет брызнул через щель люка, и судно словно подскочило от близкого грохота.

— Разрыв слева по носу, — раздалось сверху.

— Порядок! — отозвался командир.

— Разрыв прямо за кормой,— докладывал кто-то.

— А ну-ка, доверните немножко,— приказал Гурский.

Еще несколько раз тяжело и страшно грохало снаружи, и каждый раз становилась видна щель в люке. Потом удары стали слабее, отдалились, стихли, сверху пахнуло свежим ветром. Кто-то открыл люк и, скользя руками по поручням, спрыгнул в каюту. Это был Гурский.

— Ну, как вам тут живется? — спросил он, включая свет в каюте.— Не очень испугались?

— Не так, чтобы очень... А что вы меня тут одну оставили? Думаете, приятно? Сиди тут одна в потемках и прислушивайся.

— Да приятного тут у нас вообще маловато. Это я вас должен предупредить.— Гурский с уважением поглядел на молодую женщину.— Молодец вы, все-таки. Не всякая бы поехала.

— А я как раз самая всякая. Ну, довольно стращать меня, а то запугаете совсем. Вы сами-то давно на Крайнем?

— Да — ни много, ни мало — третий год.

— Ну и как?

— Да никак. Обвыклись. Даже диковато на Большой земле бывать. Но кто с непривычки,

тому тяжело сперва, очень уж на отшибе живем. Зато вахта почетная. Стоим тут в мертвую. Ни на тютельку не отошли. Погранзнак держим и ни с места!

— Батыгина, конечно, знаете?

— Кто же у нас капитана Батыгина не знает?

— Вот расскажите мне о нем, как он?

— А чего тут рассказывать, сейчас сами увидите. Извините, мне некогда,— и Гурский заторопился. — Подходим уже.

И опять Батыгиной показалось, что командир нарочно замял разговор о Димитрии. Гурский деловито порылся на полках в каюте, открыл стенной шкапчик, вынул оттуда журнал и поспешно поднялся по трапу наверх. Дизель работал глуше и медленнее. Потом он совсем затих. Но его медленный ритмический шум как бы подхватил береговой прибой, размеренный и уже близкий. В темноте подчалили к маленькой пристани, под сваями которой прокатывались, рушась на берег и сотрясая мостки, крупные валы. Ночь вокруг была полна таинственной тревоги. Луна, источавшая льдистый блеск, стояла в холодном небе и казалась совсем близкой, очень родственной тому мертвенно-бледному пейзажу, который открылся перед глазами Батыгиной. Так вот он, полуостров Крайний! Суровая и молчаливая обитель героев, самый северный и невообразимый удел войны — вот он! Угрюмая недвижная пустыня. Куда ни глянь,— огромные валуны,— сотни, тысячи валунов. Словно большие стада допотопных гигантов окаменели здесь, заклятые леденящей магией луны. Огромные кратеры — воронки от авиационных бомб, — с черной, мрачно поблескивающей водой

на дне, отбрасывали зубчатую тень своими развороченными краями. Безлюдно было кругом. Ревел тяжелый прибой у скал, и гривастые валы, катясь один другому вдогон, показывались на лунной дорожке моря, переваливали через нее и грузно низвергались на берег. Луна была необыкновенно близкой, почти досягаемой. И мнилось, что все вокруг подчиняется этому стынущему сиянию, и самый берег, с его кратерами, валунами, пустынный и нежилой, уже не принадлежит земле, а выхвачен из мирового пространства, может быть, отродился от самой луны. И когда Батыгина подумала, что крутая волна, ударившая в берег около нее, возможно, докатилась сюда прямо с Северного полюса, ее пронизало зябкое ощущение заброшенности.

— Да, занесло нас с вами, Зинаида Павловна,— пробормотал Илья Герасимович, ежась и поправляя на плече лямку чемодана, в котором он возил свой баян.—Отсюда уж вон и до луны рукой подать. Смотрите, пожалуйста, жуткое дело, куда современная война достигает.

Дальше все шло так, словно совершалось в каком-то плохо рассмотренном сне. Батыгину слегка укачало на море, и сейчас берег плыл у нее под ногами, и она плохо слышала. Подошел кто-то, неся на штыке лунное сверкание. Гурский сказал шопотом: «Прицел». Человек качнул штыком и отозвался так же доверительно: «Пенза». И кто-то невидимый настойчиво твердил в темноте: «Онега? Онега? Соедините меня с Енисеем. Это Волга говорит. Машина вышла?.. Добро...» Потом чьи-то руки помогли Батыгиной влезть в крытый кузов машины, и опять ее качало в темноте. Гурский, высовываясь, шептал кому-то: «Прицел»,

и в ответ слышалось: «Пенза». Илья Герасимович, обхватив свой чемодан на коленях, что-то сонно бормотал. Потом мигали электрические фонарики. Сильные руки, неловко поддерживая Зинаиду Павловну, вели ее куда-то вниз. Вокруг пахло землей, и под ногами осыпались шиферные пластинки. И вдруг уютный свет и жилое тепло со всех сторон обступили Батыгину. Странное оцепенение прошло.

Зинаиду Павловну представили полковнику Корчеванову — начальнику укрепленного района. Полковник, тяжеловесный и приземистый, с обветренными скулами свекольного отлива, приветствовал артистку, пошутил с грубоватым радушием фронтового человека, давно не бывавшего на Большой земле. Гурский что-то шепнул ему на ухо.

— О-о! — смущенно прогудел полковник. — Так вы нашего Батыгина супруга! Вот оно, как получается. Очень приятно.

И опять Батыгиной показалось, что все в блиндаже, а особенно миловидная девушка-связистка, почему-то смутились.

— Ходорков, попросите капитана Батыгина сюда, — приказал полковник.

И вот зашуршали снаружи осыпающиеся пластинки шифера, и Зинаида Павловна с колотящимся сердцем поднялась навстречу высокой плечистой фигуре, в плащ-палатке с поднятым капюшоном, которая заслонила вход в землянку.

— Прибыл по вашему приказанию, товарищ полковник, — сказал вошедший и рывком откинул капюшон.

Его крупное лицо с плоскими щеками и тяжелым подбородком залилось краской, дрогнуло. Ши-

роко раскрыв глаза, он смотрел на жену, а Зинаида Павловна медленно подходила к нему, не отрывая взгляда от лица, так странно изменившегося, но сразу узнанного всем ее существом.

— Здравствуй, Димитрий, вот... приехала.

А он все смотрел на нее, словно не доверял своим глазам. Потом сделал шаг навстречу жене, остановился, неуверенно поглядел на Корчеванова.

— Товарищ Батыгин,— сказал полковник,— я полагаю, в рейд вам итти сегодня незачем. Останетесь. У вас там в блиндаже найдется местечко, надеюсь. Товарищ Ходорков, помогите с вещами. Возьмите сопровождающего.

Батыгина с тревожным вниманием вглядывалась в лицо мужа. Какая-то горькая перемена наложила свой отпечаток на крупную прямую фигуру Димитрия, на его неподвижное, словно затвердевшее, лицо. Левый висок, видный из-под пилотки, серебрился сединой.

Он молча пропустил вперед жену и за дверью, в темноте, на ступеньках поддержал ее за локоть. Она почувствовала эту знакомую, большую и сильную руку, припала к мужу плечом и, стоя на две ступеньки выше него, нашла в темноте губами плоскую щеку, и рот, и глаза...

— Димитрий, Димка ты мой... Господи, я уж думала, никогда больше...

А он только повторял, трудно выдыхая слова: «Зина, ты... Зина!.. приехала...»

Ходорков с чемоданом ушел далеко вперед, сопровождающий автоматчик учтиво приотстал, и они шли обнявшись. Ей было так покойно. Большая рука привычно обнимала ее за плечи, и даже луна показалась теперь доброй знакомой, такой же, как в Москве над Краснохолмским мо-

том, за Таганкой, где они жили до войны и часто гуляли поздними вечерами. И очень уютным оказался блиндаж, где жил капитан Батыгин. Он был выдолблен в скале над самым морем. И так как здесь стояли бывшие моряки, теперь охраняющие полуостров, то в маленьком подземном помещении все сверкало чистотой, как на корабле. Стены были обиты проолифленной фанерой, висел спасательный круг с облезшей надписью латинскими буквами: «Гамбург» — приношение моря па память о потопленном немецком пароходе... Неярко горела электрическая лампочка на шнуре, подтянутом к столу. Тикал судовый хронометр. На столиках, покрытых чистыми газетами, лежали стопками книги. Помазок торчал в кружке, сделанной из консервной банки, и отражался в маленьком настольном зеркальце. Аккуратно прибранные постели вытянулись на нарах, а перед входом кокетливо красовался половичок, сделанный из оленьего мха — ягеля.

— У нас как в культурном колхозе,— сказал Ходорков, ставя чемодан на нары.

— А где же весь народ? — спросил Батыгин.

— Народ, товарищ капитан, имеет некоторое свое понятие,— отвечал Ходорков.— Я их упредил, что к вам супруга прибыла, они и подались до другого места. Кто к Калачеву перебрался, кто — в клубную палатку.

И вот они остались вдвоем. Батыгин тяжело опустился на койку. Зинаида Павловна раскрыла чемодан, разворошила все в нем, вытащила голубой фланелевый халатик, такой домашний и простой. Она двигалась по блиндажу с хозяйской уверенностью женщины, приехавшей к своему мужу. Взбила подушку, вытрясла одеяло, прове-

рила запор на двери, и запах ее духов вытеснил все другие запахи мужского фронтового жилья. Даже вещи в блиндаже вдруг как будто похорошели от прикосновений ее легкой, быстрой руки.

— Вечно у меня крошки какие-то в одеяле. Ты знаешь, Дима, столько ездить приходится, наберешься и пыли и дыму—всего хватает. Отвернись, я переоденусь... Ну, мне неловко так. Я тебя очень давно не видела... Вот... Теперь можешь смотреть... Хорошенький халатик я себе сшила, правда? Мне идет, верно?

— Очень.

— А я сильно постарела? Да?

— Нет. Не замечаю.

— А ты, Димитрий, изменился. У тебя лицо какое-то другое стало. Ну что ты молчишь? Ты что, не рад мне? Странный ты какой-то. Отвык? Ты, вообще, негодный. Сколько времени не писал... скажешь, письма не доходили? Чаще бы писал, так доходили бы... Ну что ты так смотришь? Я ехала, ехала сюда, тысячи верст добиралась, а он сидит, уставился. Ну что ты, Димка, что с тобой? Иди сюда.

Чорт... как странно: ты — и здесь...

Его горло издало сухой и короткий стон, какой производят стены давно нетопленной комнаты, когда они отходят, согреваясь.

— Зинуша, тебе ничего не говорили?

— Что говорили?

— Про меня.

— Как так не говорили! Все тебя знают. Я еще в Москве читала в «Красном флоте», как ты в разведку ходил к немцам. Из газеты вырезала и всем показывала, как дура. Ужас до чего хва-

талась тобой. Вообще, вы все тут такие замечательные на флоте... Ну что ты, Дима, что ты?

Он встал, подошел к ней и медленно обнял.

— Дима...

Но он вдруг откачнулся.

— Нет, не могу. Я итти должен. Зина, не надо, прощай.

— Что с тобой, ты болен? Дима, что с тобой?

Она поднялась на цыпочки, заглядывая ему прямо в глаза.

Он нахмурился.

— Я не могу, я, понимаешь... Эх!

И, внезапно круто повернувшись, он шагнул к выходу. Кулаком отшиб в сторону деревянную щеколду, нагнулся и нырнул в низкую дверь.

В соседней халупе долговязый Ходорков, разматывая портянку, мечтательно говорил, поглядывая в бревенчатый потолок:

— Эх, позавидуешь капитану, на самом деле, честное слово.

— Ходорков! — отозвался из угла молоденький разведчик, зашивавший пилотку, накануне прохваченную пулей.—Без жеребячества давай. Условились, а?

— А я ничего такого. Нельзя уж разве и шутку пошутить? Вот и товарищ командирующий скажет. — Он кивнул в сторону задремавшего Ильи Герасимовича.— Тут чисто семейные обстоятельства, каждый имеет понятие. А ты вот не видел и молчи. Посмотрел бы, так сам бы размечтался.

— Хороша? — спросил кто-то с верхних нар.

— Что надо. Маленькая, а собой такая фигуральная.

— Да и капитан-то у нас не плох,— заметил молоденький разведчик.

— Мужик видный,— согласился Ходорков.

— Только за последнее время чего-то похилился,— сказал молоденький,— неладный ходит.

— Будешь неладным, похилишься, раз такое дело. Это после того казуса.

Любопытный Илья Герасимович быстро приподнялся.

— Это, ребята, что же за казус такой?

Все укоризненно посмотрели на Ходоркова.

— Эх, и звонарь ты. Рында у тебя заместо языка подвешена.

Маленький смуглолицый и скуластый разведчик Искаир Кужергенов подскочил к Илье Герасимовичу и присел у койки на корточки. Его широкоскулое курносое лицо находилось на одном уровне с головой Ильи Герасимовича.

— Ничего такого,— быстро заговорил Кужергенов,— немножко такой характерный казус. Понимаешь, очень был храбрый человек, самый храбрый. Очень сердито воевал. Мы много раз с ним ходили, фрицам немножко безобразие делали. А потом один раз вдруг трус сделался, немножко трус. Одна минута... Письмо пришло, он расстроился немножко.

— Это от кого же, интересно знать, письмо пришло? — ревниво заинтересовался Илья Герасимович.

— Откуда знать, какое письмо. Он его в сумку клал. Мы рейд немножко делали. Он все фонарик зажигал, еще раз читал. Всю дорогу читал. Немножко почитает, немножко расстроится. Потом, понимаешь, немцы огонь сильный дали. А он всегда такой храбрый был, а тут, пони-

маешь, говорит: «Не вышло дело»,— говорит,— давай назад итти». Задание свое не сделали, ходили обратно. Такой характерный казус. Очень такой отрицательный случай. Что такое, непонятно.

Ходорков ударил кулаком в ладонь.

— Дознаться бы мне, чего в том письме было,— сказал он, сердито глядя в сторону,— так я бы тому человеку... Верно, баба какая-нибудь, возможное положение, и жена. Знаю я их женскую привычку. Ей что! Накарябает мелким почерком, языком лизнет, заклеит, а человек через это сам не свой делается. Ну, если и разлюбила, так помолчи до мирного времени. Не соображает... Мы все тут, разведчики, большую обиду приняли от этого. Сами все переживание имели. Вот, замечаете: мы все награжденные, а командира не представили... Все за то!

— Потом опять храбрый стал,— торопливо и яростно сказал Кужергенов,—еще сильнее храбрый, чем раньше был. Но, понимаешь, тот отрицательный случай забыть не может. А я говорю: человек, как море — бывает прилив, бывает отлив, бывает глубоко, бывает мелко. Вот, как я говорю.

— Он с такого случая еще хуже отчаянный стал,— вмешался снова Ходорков.— С него и взыскание сняли. Видать же всем, что командир верный. Тот случай не в счет, о нем и говорить не велено. Ну, было и было. раз. Мало ли что...

Он внезапно замолчал и, вскочив, смущенно повернулся к двери. Все встали. Вошел Батыгин.

Сумрачны были глаза капитана, и глухо тлел в них жгучий огонь невыдаваемой боли.

— Калачев где? — спросил он.

— Калачев, товарищ капитан, где катера стоят,— ответил Ходорков, вытягиваясь.— У нас ведь, товарищ капитан, сегодня рейд назначен...

— Лишнее болтаете при посторонних,— оборвал его Батыгин.

Все некоторое время молчали.

— От такой жены ночью ушел,— сочувственно проговорил Ходорков.— Чудно!

— Допустимо, что и она его удалила,— пробормотал Кляпиков и вздохнул. — У ней, знаете, характер жутко устойчивый, уж я-то знаю...

— Нет, по виду не такая она, чтобы с человеком подобно обойтись,— возразил Ходорков.— Тем более, он всеми прощенный давно.

— Понимаешь, это очень характерный человек,— страстно заговорил Кужергенов.— Это такой человек. Сам себе «прости, пожалуйста» сказать не хочет. Очень гордый сам. Куда пошел, знаешь? — Снизив голос, он пододвинулся к баянисту. — В разведку пошел. У нас добровольцы рейд хотят делать. Он тоже хотел с нами. Полковник сказал: не надо, жена приехала. Потом сходишь. Нет, пошел. Такой человек.

Оставшись одна в блиндаже, Зинаида Павловна некоторое время растерянно глядела на захлопнувшуюся дверь. Потом она накинула свою беличью шубку и выбежала наружу. Остекляневшая луна безучастно стояла в небе. Море за скалами мерно жевало свою ночную жвачку, тяжело двигая невидимыми челюстями. Кругом было пустынно, холодно и мертво. И такой несча-

стной, одинокой, заброшенной на край света почувствовала себя Батыгина.

— Димитрий! — позвала она.

Ей хотелось крикнуть очень громко, но мрачная неподвижная тишина сдавила ей горло. Затрещали, посыпались пластинки шифера. Кто-то спускался к берегу.

— Вы что тут одна мерзнете? — услышала она грубоватый мужской голос. — Простудитесь. И без сопровождающего у нас тут не полагается. Идемте в блиндаж.

Полковник Корчевалов спрыгнул с откоса и подошел к ней.

— Вы на него не обижайтесь, — проговорил полковник, неуклюже беря ее под руку и вводя в землянку. — Ему сейчас еще хуже, чем вам. Очень уж он у вас трудный человек. Ничего, небось, не сказал вам? Я так и полагал.

— Что с ним такое происходит, полковник? Что-то нехорошее стряслось. Вы скажите прямо.

— Да, понимаете, — начал полковник. — Втолбил он себе неуклюжую теорию. На мой взгляд, весьма порочную. На войне, мол, надо отказаться от всего, что связывает тебя с жизнью. Дескать, все эти прежние чувства, привязанности, воспоминания ни к чему. Он ведь вам поэтому и писем не писал сперва. Человек он, верно, чертовски храбрый. Но какая-то у него отвага угрюмая. Надо драться, любя жизнь, помня о ней, за нее и воевать. По крайней мере, я так полагаю. Смелость нельзя в оранжерейном порядке растить. Ее надо подставлять всем ветрам, которые с Большой земли дуют. Жизнь не затопчешь в себе. Она пробьется, все равно о себе напомнит. Вот пришло в августе письмо от вас,

очевидно, вы раздобыли его адрес, и вся система его разом рухнула. Полетели к чертям все стекла в оранжерейке, где он свою теорию выращивал.

— Но я его ни в чем не упрекала в том письмо. Я просто очень беспокоилась.

— Я так и полагал... Но, понимаоте, на него сразу подуло горячим ветром с Большой земли, опалило его, он и завял. Как раз тут пошли в ответственное задание. И, понимаете ли, в первый раз в жизни побоялся рискнуть, повел себя не так, как принято у нас, у моряков. Не подоспей вторая группа с Калачевым, сорвалась бы вся операция. Случай у нас на Крайнем невиданный. М-да. Если от жизни так начисто отказаться, так что же — погибнуть только можно красиво, честно. Однако и в смертный час надо помнить, за что погибаешь, кто тебя помянет. Но уж побеждать — побеждать можно только, когда всю жизнь за собой чувствуешь.— Полковник помолчал минуту и застенчиво спросил вдруг:—А дети у вас есть? Нет? Напрасно. Дети большую устойчивость дают. Я лично неисправимый семьянин. Очень, знаете, по жене скучаю. А ребятишки у меня какие! Это просто...

Полковник расстегнул шинель и, усевшись поудобнее, стал подробно с умилением и привычно рассказывать о своих детях. Он вынул из бумажника фотографию. Батыгина увидела портреты двух ребят — мальчика и девочки. Девочка была очень похожа на отца. Крупная, густобровая, и говорила она, должно быть, низким ломающимся голосом.

— А где сейчас Димитрий, куда он ушел? — спросила Батыгина.

— Он, видите ли...— полковник помялся.— Я не мог ему отказать. Сегодня лейтенант Калачев у нас в ночной рейд пошел. Только это между нами, дело секретное. Ну и понятно, ваш попросился у меня пустить его для усиления группы. Я-то с вечера отказал ему по случаю вашего приезда. Совсем это не обязательно итти ему было. Но сейчас прибежал сам не свой. Ну, я и разрешил.

Батыгина вскочила, решительно застегивая на себе шубку.

— Да вы сядьте, сядьте. Они уже давно в море ушли. Ничего, завтра вернется, отоспится, на концерт к вам придет. Я ему обещал, что все тут вам объясню. Гордый человек, нелюдимый. Того случая сам себе никак простить не может.

— Зачем вы разрешили ему?! — голос Батыгиной раскололся от подступающих к горлу рыданий. — Что вы сделали? Ах, полковник, полковник! Вы его не знаете, он же на смерть пошел. Я чувствую, он не вернется.

— Да будет вам, вернется, как миленький. И, знаете, я бы на его месте тоже сейчас пошел. Честно вам говорю... Ну, слушайте, плакать-то уж не годится. Ну, срам какой! А еще говорит: я такая, здакая, на всех фронтах была...

Батыгина обеими руками схватила полковника за отвороты шинели.

— Пошлите за ним катер, я вас прошу, товарищ полковник, верните его. Ну пускай он будет не таким, как по-вашему требуется, лишь бы живой был. Он ведь думает, что я тот случай и не прощу...

Полковник осторожно отвел ее руки и встал.

— Ничего он этого не думает. Он сам себя простить не хочет. А сказали вы сейчас нехорошо, Зинаида Павловна. Что значит: «лишь бы живой»?.. Мы, Зинаида Павловна, здесь, на Крайнем, все друг с другом условились так, что если уж останемся живыми, то только такими, как требуется! Так мы, моряки, считаем и на море, и на земле. Разницы нет.

За дверью послышались шаги, неуверенные, спотыкающиеся. Кто-то негромко чертыхнулся. В дверь постучали, и вошел Илья Герасимович.

— Разрешите? Это я. Дай, думаю, проведаю, как тут моя командирша. А что!.. У вас, товарищ полковник, вполне в общем жить терпимо. Воздух свежий, питание... Ни черта, где наше не пропадало! Я уже там двести грамм принял. Мне теперь хоть посреди моря концерт давай, что остров, что полуостров — один чорт. Мы с Зинаидой Павловной, товарищ полковник, не в таких обстоятельствах бывали. Вот, помню, под Воронежем...

Полковник перебил его:

— Вот что, товарищ, вы тут побудьте, расположитесь до утра, чтобы Зинаиде Павловне одной не страшно было, а я пошел. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, приятных снов, товарищ полковник, — сказал Кляпиков.

Батыгина лежала, уткнувшись лицом в подушку, как была, — в шубке и смушковой шапочке, сбившейся на щеку. Полковник постоял минутку, вздохнул и пошел, тихонько прикрыв за собой дверь. Илья Герасимович присел на койку.

— Ну что вы, Зинаида Павловна? Вы не расстраивайтесь. Да вы хоть бы шубку раздели,

что уж вы так... А славный у них полковник. Вообще хороший народ. Угостили меня там... Ну что вы, Зинаида Павловна, так убиваетесь?

— Он в рейд пошел, понимаете, Илюша? Ночью на чужой берег.

— Ну и что же, это у них считается за обыкновенное дело, вроде как у нас гастроли. Они мне даже немецких сигарет обещали на память. А как же ему не итти! Ихняя морская совесть не позволяет... Вы бы легли как следует, Зинаида Павловна, четвертый час уже. Завтра голоса не будет.

— Илюша, я петь не буду, пока он не вернется. Я не могу.

— Как желаете, — Кляпиков отодвинулся. — но уж это, Зинаида Павловна, неловко получается. Ехали. ехали, напросились, командировочные получаем. Народ обидится. По всем батареям разгласили, что вы прибыли. Это вы только самого Димитрия Михайловича оконфузите. Нельзя это срывать, военное задание, Зинаида Павловна. Давайте-ка я лучше с вас шубку сниму. Вот так. накрывайтесь, а то сразу уж — не петь. Скажете тоже. Ну, спите, спите.

Он заботливо подоткнул ей со всех сторон шубку...

— Да, заехали мы с вами. Зинаида Павловна! Самая что ни на есть уже форменная Арктика. А помните, как из-под Воронежа-то, ехали? Ну, спите. спите. Эх, вы, перепелочка моя, сизокрылинькая.

Он тихо замурлыкал, привычно раскачиваясь в такт песенке, словно припадал к воображаемому баяну.

А у перепелочки ножки болят,
А у перепелочки ножки болят.
Ты ж моя, ты ж моя, перепелочка,
Ты ж моя, ты ж моя, невеличенька...

Ближе к утру сильно и звучно ударили наши береговые батареи за сопкой. Со столика между нарами упала жестяная кружка. Кляпиков вылез узнать, в чем дело, и вскоре, вернувшись очень возбужденным, сообщил, что сигнальщики на мысе заметили вражеский пароход, который пробирался к Финляндии. Наша морская застава открыла огонь. Пароход — это был огромный танкер с нефтью — загорелся.

— Вы бы вышли, поглядели, Зинаида Павловна, иллюминация, жуткое дело! — азартно рассказывал Кляпиков.

Зинаида Павловна накинула шубку и вышла из блиндажа.

Луна скрылась, но все на полуострове было залито зловещим малиновым светом. Небо на западе, скалы у берега, сопки и валуны — все стало ржаво-розовым, как бывает, когда смотришь через цветное стекло. Вздрагивающее зарево тлело над морем. От горизонта до берега по черной, словно обугленной воде колыхаясь пролегла пламенеющая дорожка. И в лютой, исчерпа багровой дали, словно в раскаленном фокусе ночи, полыхало огненное жерло, медленно и беззвучно вываливая кровавый дым. Течение и переменчивый ветер носили горящий танкер по морю.

— Уже три часа мотается, — сказал кто-то в темноте, — его еще у Наволока наши давеча фукнули.

Огненный призрак медленно брел по горизон-

ту. Он шатался из стороны в сторону, то приближаясь, то удаляясь, словно берега не принимали его. На лицах людей, стоявших на мысе, играли малиновые отсветы, белки глаз порозовели. Молча стояли моряки и смотрели на пылавшее судно, мыкавшееся по морю. Казалось, что это бродит неприкаянная, терзаемая огнем, душа уже мертвого корабля, и море не хочет поглотить ее, и земля отталкивает от себя...

Зинаиду Павловну начало мелко знобить. Она вернулась в блиндаж, прилегла на койку, и скоро усталое сознание ее ушло в зыбкий сон, как вода уходит в песок.

Маленький катер разведчиков, известный на полуострове под названием «Калачевский линкор» или «Летучий голландец», благополучно пересек залив и приближался к мысу, где находился береговой пост немцев. Катерок шел почти бесшумно: выхлопы мотора были предусмотрительно отведены под воду. На море ходила крупная зыбь. Маленький кораблик неутомимо карабкался с волны на волну, проваливаясь в шипящие ямы между водяных гор. Ледяные брызги обдавали разведчиков. Вода гуляла по узкой палубе. Но люди только поеживались, повернувшись спиной к ветру, пряча под мокрыми плащ-палатками автоматы, тщательно оберегаемые от прикосновений моря. Все молчали. Тишина была одним из необходимых условий ночного похода. Да и само окружающее безмолвие холодных ночных просторов Заполярья, словно призывало к молчанию. Даже самые привычные моряки ощущали утлость своего суденышка, затерянного в мертвой пустыне Арктики. Неожиданно, как это всегда бывает в Баренцовом море, глухая лавина тумана обрушилась на кате-

рок, заполонила все вокруг мокрой волокнистой духотой, швырнула короткий, но густой снежный «заряд». Луна завязла в тучах, и тьма навалилась на море.

— Шарик тоже имеет сознание: во-время выключился,— негромко сказал Ходорков,— посветил и хватит. Нам в потемочках милее...

— Разговоры отставить,— шопотом приказал Батыгин.

Он стоял рядом с Калачевым и рулевым, всматриваясь в мокрую темноту. Калачев различал в тумане громоздкую фигуру капитана. Он ни о чем не спросил Батыгина, когда тот явился на катер и заявил, что пойдет с разведчиками. Расспрашивать командира вообще не полагалось, а кроме того, Калачев был рад, что капитан пошел с ними. Молчаливая отвага и невозмутимое спокойствие этого странного человека хорошо действовали на людей, вселяли в них суровую уверенность. Калачев давно привязался к капитану, с которым уже не раз хаживал в лихие ночные налеты на вражеские берега. Батыгин казался ему человеком необыкновенным, и он охотно прощал капитану его нелюдимый характер, некоторые странности и причуды, полагая, что они неизбежны у людей выдающихся. Что касается «казуса», т. е. случая, который так смутил разведчиков и долгое время был предметом яростных споров на полуострове, то Калачев старался не думать о нем, не искал объяснений, решив раз навсегда, что это просто-напросто, как он любил выражаться, «бзик нашел на капитана»...

Да и сам капитан Батыгин не смог бы точно объяснить, что с ним приключилось в тот злосчастный день.

У него с некоторых пор выработалось свое, особое отношение к войне, к человеческой смерти и жизни. До войны он работал в гидрографическом отделе, хорошо знал штурманское дело. Человек немногословный, малообщительный, он работал с придирчивой точностью, был взыскателен на службе, и некоторые считали его службистом, придирой,— ничего, кроме своих карт, не желающим знать. Для многих было неожиданным, что, едва началась война, Батыгин решительно потребовал перевода его на действующий флот. Он добился своего, его перевели на Север. Через несколько дней после приезда капитана, немецкие бомбардировщики на его глазах потопили пароход, увозивший с базы флота женщин и детей, эвакуируемых в тыл. Капитан видел, как фашистские самолеты пикировали на безоружное судно, долбили бомбами, а потом с бреющего полета хлестали пулеметными струями барахтавшихся в ледяной воде ребятишек, захлебывающихся женщин...

Батыгин участвовал в спасении тонувших. Четыре раза бросался сам в холодную воду с борта подоспевшего катера-охотника. Он спас окоченевшую женщину и троих ребят. Но жестока стылая вода Баренцова моря. Самый лучший пловец продержится в ней не более сорока минут: потом человека поражает паралич сердца. И трое из четверых, спасенных Батыгиным, уже не вернулись в жизнь, а четвертому — это был худенький шестилетний мальчуган — на берегу в госпитале отняли омертвевшую ногу...

Через две недели после этого Зинаида Павловна, вернувшаяся в Москву из гастролей, получила письмо от мужа. Он скупо и точно рассказал о злодействе, свидетелем которого был. «Прощай,

Зина,— писал капитан в заключение,— постарайся понять меня. Я уезжаю сегодня в один из самых жарких и черных углов войны. Вряд ли кто из нас вернется оттуда к жизни. Но если я и уцелею, я не вернусь на Большую нашу землю до тех пор, пока не будет истреблен последний из той паршивой сволочи, что топила на моих глазах детей и женщин. И до этого дня уши заткнуты, сердце у меня закрыто для всего — для любви, для воспоминаний, для музыки, для радости — для всего! Это надо написать как-то не так, но я не мастер письма писать. Если меня убьют, тебе сообщат. А я и тебе рекомендовал бы на это злое, страшное время оставить свои песенки. Не до песен сейчас, Зина. Я бы, по крайней мере, предпочел умереть молча. Пошла бы и ты работать куда-нибудь, Зина. Ты когда-то чертила недурно, я занимался с тобой. Это сейчас тебе может пригодиться. Сейчас это полезнее будет, чем песенки твои. Я знаю, что ты не согласишься, скажешь, что я всегда был сухарем. Но я сам сейчас иначе не могу...»

Полуостров Крайний в те дни слыл местом поистине гибельным. Использовав все выгоды внезапного вторжения, немцы и финны захватили узкий перешеек, отрезали полуостров от суши, наседали на него с сатанинской настойчивостью. Немцы пытались высадить десанты, бешено бомбили полуостров с воздуха, обрушивали ураганный огонь из своих береговых дальнобойных батарей. Но части морской пехоты, стоявшие на полуострове, удержались на скалах и на сопках его. Моряки не отдали этого маленького клочка нашей земли, вокруг которой с трех сторон было лютое море, а с четвертой — враг.

Батыгина сперва не взлюбили за его мрачный, нелюдимый нрав, но вскоре он быстро завоевал всеобщее уважение среди защитников полуострова своей решительностью, неколебимой храбростью и полным пренебрежением к опасности. Такие люди и нужны были тут, на краю света, в глухом углу войны, на пустынном и голом мысе, где напряженная битва шла круглые сутки и люди не знали ночного роздыха, так как до полярной ночи надо было держаться еще не один месяц... Каждый, кто дрался тут, знал, что стоять здесь моряки решили до последнего. На перевале всего лишь сорок — пятьдесят метров отделяли наши посты от противника. Запрещалось ходить по мысу в одиночку и без оружия. Здесь не было безопасных мест...

Батыгин подобрал группу смелых разведчиков и часто ходил с ними в смелые рейды на берег, занятый немцами. Они взрывали склады, истребляли гарнизоны немецких форпостов, уничтожали береговые орудия. Разведчики верили удачливости своего командира и готовы были итти за ним всюду, куда он поведет их, хотя и дивились часто некоторым его странностям. Батыгин резко выделялся своей молчаливостью среди любящих «потравить» словоохотливых моряков. Говорили, что капитан не любит песен, и действительно, когда кто-нибудь запевал, капитан быстро вставал и уходил прочь. Он ни от кого не получал писем и сам никому не писал. А когда в августе 1942 года пришло вдруг капитану письмо с Большой земли, с ним сразу и приключилось то неладное, почти необъяснимое, чего не могли понять товарищи Батыгина и не хотел простить себе он сам.

Письмо, которое он получил тогда от жены,

письмо, полное понимания, нежности и любви, опрокинуло все его правила, ударило в сердце и в уши шумом далекой и полузабытой жизни. Он наивно полагал, что можно отвыкнуть от всего, что было самым дорогим на свете, он искусственно отучал себя от жизни. И теперь он оказался неспособным устоять перед жадным напором того, что всколыхнулось в нем. В решительную минуту похода, который оказался роковым для Батыгина, капитан проявил постыдную и непостижимую слабость. Он не решился итти сквозь огонь, открытый немцами, он приказал повернуть обратно... Это была всего лишь одна минута, но капитан никогда уже не мог простить ее себе.

Никто не мог понять, что произошло с капитаном. Подозревали, что он получил какое-то очень тяжкое известие с Большой земли. Только полковник Корчеванов узнал истину, так как ночью после неудачного рейда четыре часа толковал с Батыгиным с глазу-на-глаз. Случай этот для полуострова был беспримерный. Такие вещи не прощались. Поступок капитана обсуждался на закрытом партийном собрании. Батыгин неуклюже, но чистосердечно рассказал все, что он пережил. Его теория о самовольном отказе от жизни была единодушно признана нелепой, убивающей смысл истинной отваги. Заслуги капитана были общеизвестны, и решили предать забвению его поступок. И капитан Батыгин стал медленно возвращаться к жизни. Ему дали возможность загладить свою ошибку делом, и он уже не раз ходил снова со своим верным Ходорковым и преданным Кужергеновым в ночную разведку. Он был так же настойчив в поиске, столь же ревнителен и смел, как и

прежде, даже еще храбрее стал он теперь. Но заметили, что он старался теперь стать общительней, хотя и таил еще в себе полную укора память о горьком «казусе». За обедом в кают-компании он иногда теперь вставлял в общий разговор и свое слово. А однажды, когда разведчики запели у своей землянки, Ходорков чуть не обмер от испуга: капитан вдруг глуховатым басом стал подтягивать...

Сегодня неожиданный приезд жены Батыгина напомнил всем снова о том, что стряслось с капитаном и продолжало терзать, как ни скрывал он, честную, смелую, неуютную душу его. И он не мог позволить себе остаться с женой, рассказать ей обо всем и не пойти с разведчиками.

Уже три с половиной часа шли они в тумане. Калачев доложил, что, надо полагать, катер уже на траверзе мыса. Капитан приказал готовиться к высадке.

Утром полковник зашел за Батыгиной. Разведчики еще не вернулись из ночного рейда.

— Задерживаются что-то, — сказал полковник. — Но ведь, знаете, дорожка не из гладеньких.

— Но связь у вас есть с ними? — спросила бледная Батыгина.

— Ночью была. Калачев сообщал, что все в порядке. А сейчас молчат. Верно, не хотят себя обнаруживать. Вы не беспокойтесь, Зинаида Павловна, я полагаю, что их туман задерживает. На море сейчас такое молоко...

Чтобы развлечь гостью, полковник повел ее по береговым укреплениям. С моря наплывал туман. При тусклом свете полярного дня угрюмая природа полуострова выглядела еще сумрач-

ней. Доты были высечены здесь прямо в скалах, и на камнях темнели тщательно выбитые надписи: «Василий Дорох», «Ваня Горшечников».

— Это что, товарищ полковник, — насмешливо осведомилась Батыгина,— у вас тут прямо, как в Кисловодске, на скалах свои имена запечатлевают?

Она сказала так и сразу поняла, что пошутила неладно.

Полковник исподлобья посмотрел на нее. Бурые скулы его обтянулись.

— Нет, Зинаида Павловна, тут у нас не курорт. Василий Дорох — это у нас замечательный был разведчик. Золотой парень. Его четырнадцать немцев окружили. Восьмерых убил, а последней гранатой — себя, чтобы живьем не сдаться. Это, кстати, в тот раз и было, когда у Батыгина заело. Дорох в группе Калачева был. А Ваня Горшечников коком служил у нас. Красавец малый. Первый песенник, весельчак. Тут недалеко немцы пытались десант высадить. Он свой камбуз бросил и — за пулемет. Да еще с присловием, с шуточками, как всегда: «Режем, парим, варим, жарим, берегись, не то ошпарим...» Пулей его прямо в сердце. Вот теперь в камне, в бетоне дорогую память о них храним. Так и называются у нас эти доты совершенно официально. Дот «Василий Дорох», дот «Ваня Горшечников».

— Стойте, кто это кричит там?

Полковник прислушался. Издали, из туманной мяготи, слабо доносился чей-то крик.

— Ау-у-у! Есть тут кто свой?! Ау-у-у! Куда направление-то брать?

— Эй, кто там? — закричал полковник, вгля-

дываясь в туман.— Ничего не разберешь. Стой, кто идет?

— Батюшки, товарищ полковник, — послышался совсем близко дрожащий тенорок Кляпикова, и баянист выполз из тумана. — И Зинаида Павловна тут. Вот как удачно складывается. Запутался я вовсе в этом окаянном тумане. Как вышел за дверь, так сам себя потерял. Гляжу себе под ноги, а ног не вижу. Яко в облацех парю. Так, соображаю, недолго и к немцам по ошибке забрести. Я уж кричать начал... Ну, как? Не вернулись еще из разведки-то?

Ранние полярные сумерки уже наваливались на полуостров. Разведчики все еще не вернулись, но откладывать концерт далее было уже нельзя.

Хор краснофлотцев расположился на склоне большого котлована, на плоских каменных террасах, за ветром. Слушатели в отсыревших плащ-палатках, из-под которых торчали винтовки и автоматы, тесно расселись на валунах и скалах. Пришли знаменитые батарейцы Панчишина, чья морская застава наводила почти суеверный ужас на немцев и финнов. Ни один вражеский корабль не мог безнаказанно прокрасться мимо полуострова, откуда точно и неукоснительно били тяжелые длиннохоботные орудия Панчишина, скрытые в капонирах. Двадцать месяцев день за днем палили немцы по мысу, где стояла батарея. Сотни самолетов насылали они сюда. Не было там метра земли без воронки. Тысячи тонн остервенелого металла обрушили немцы на этот мысок. Скалы расседались от взрывов, камни крошились. Но люди оказались крепче. Люди вытерпели и устояли.

Пришли бойцы морской пехоты, только что вернувшиеся из боевого охранения у погранзнака на скалистой высоте 372 у перешейка. Место это почиталось святыней. Там, на перевале, на полуотвесной крутизне, куда подняться можно было лишь по веревке, высилась пирамидка, сложенная из шифера. Она отмечала точку, где стоял когда-то знак государственной границы. Ни на сантиметр не отодвинулся тут рубеж страны, ни на шаг не отошли здесь моряки. Вахта у погранзнака была самой опасной, наитруднейшей и почетнейшей. Сюда в боевое охранение шли только добровольцы. По так много охотников набиралось каждый раз, что люди за три недели вперед записывались в очередь, чтоб добиться права нести вахту на священной высоте.

Спустились со скал Вайда-Тунтури, покинув свои скрытые гнезда, сутками недвижно таившиеся там сверхзоркие снайперы. Один молниеносный взгляд их был смертелен для врага, ибо взор этот мгновенно слал пулю. Снайперы пришли в своих раскамуфлированных пятнистых халатах, держа в руках, не знающих дрожи, автоматы с оптическими прицелами. Жестокую и точную славу их отмечали бесчисленные зарубки на ложах автоматов.

Явились моряки с береговых форпостов, артиллеристы, разведчики, десантники, пехотинцы морской бригады... Собрались защитники полуострова Крайнего, люди молчаливой и взыскательной отваги, воины, испытанные огнем блокады и полярной стужей. Батыгина старалась рассмотреть сквозь туман их лица; ей казалось, что она находит черты, роднящие этих суровых и сильных людей с Димитрием.

Хлопья тумана, сцепляясь, как «перекати-поле», опрокидывались в котлован. Туман наползал, густел — все приобретало фантастические очертания, все, казалось, дымится — и краснофлотцы, тесной группой стоящие на скалах, и бойцы, занявшие склоны котлована, и часовые, расставленные вокруг.

Полковник взглянул на часы и дал знак. Концерт начался. И в промозглом сумраке сильные мужские голоса запели «Нелюдимо наше море».

Облака плывут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней,
Будет буря, мы поспорим
И помужествуем с ней.
Смело, братья, туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет.

Сурово, дико и сильно звучала эта песня, плывшая над утесами и сопками среди клубов тумана, в доносившихся сюда торжественных тактах прибоя. Туман обвивал певцов, но за его мутной завесой все шире, все уверенней разрасталась песня, полная каменного упрямства и прозорливой веры.

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна,
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.
Но туда выносят волны
Только сильного душой.
Смело, братья, бурей полный,
Прям и крепок парус мой...

А потом в тумане застучали, приглушенные толстыми варежками, крепкие ладони моряков, пехотинцев, разведчиков, и на плоский камень лег-

ко взобралась маленькая женщина в беличьей шубке. Те, кто сидел поближе, видели сквозь мглу, как трепетали ее брови, косо вскинутые к вискам, и казалось, что дымное горе сочится из-под густых ресниц, смешиваясь с туманом. Старенький задрогший баянист уместился около ее ног, подложив под себя вчетверо сложенную плащ-палатку, он поерзал немного, пристроился поудобнее, повел плечами, распахнул мехи баяна и, полузакрыв глаза, нежно припал к нему щекой. И женщина в беличьей шубке, строгобровая и печальная, запела. Она пела старую песенку, и чистый голос ее исходил тоскливой нежностью к ушедшему.

...Позарастали, стежки-дорожки
Там, где ступали милого ножки.
Позарастали мохом-травою.
Там, где гуляли, милый, с тобою...

«Может быть, его уже нет в живых,— думала артистка. — Что же, я пою ради него... Они назвали доты именами погибших, доты они строили, чтобы утолить свою печаль, а я могу только петь...»

. . . .

А Батыгин и его товарищи в тот час выбирались к своим. Они лезли, цепляясь обломанными ногтями за едва заметные расщелины в скалах, срывались, скрежеща зубами в яростной живучести.

Гарнизон немецкого мыса не поднялся в то утро, целиком перебитый ночью моряками-разведчиками. Но па обратном пути катер Калачева наткнулся в тумане па пловучую мину. Железный рогатый мяч, подброшенный волной, ударился о борт. Взрывом убило Калачева. Был ранен

Кужергенов, Батыгин нырнул за ним в ледяную воду, помог добраться до берега. Таясь в непроглядном тумане, они проползли мимо немецких часовых и теперь выбирались к своим. Уже много часов брели они, проваливаясь в талом снегу, задыхаясь в зыбучей мути тумана, падали, вновь поднимались. Уже плохо видели их глаза, и они не знали, что это: туман застилает им зрение, или смерть уже слепит их. Молчаливый, как всегда, шел первым капитан Батыгин. Уже два раза падал он, но опять вставал, шагал вперед, останавливался, смотрел на отстававших, шатающихся товарищей, протягивал большую свою руку, втаскивал за собой на крутизну ослабевших и шел, шел, шел. Сухим огнем бессонницы жгло его воспаленные глаза, глубоко запали плоские щеки, холодное железо ветра гремело в ушах. Израненные обессиленные люди доверчиво шли за ним, ступая по следам. Люди верили этому нелюдимому и строгому человеку.

— Ну и туманище, товарищ капитан, — бормотал Ходорков. — Ух, дьявол, прямо в самое нутро заходит. Верное слово, просто-таки душу мутит... Товарищ капитан, как бы нам на немцев не напороться часом. Номер будет.

— А вы идите за мной и помалкивайте, — резко ответил Батыгин.

С каждой минутой раненому Кужергенову становилось все хуже. Он то и дело падал, вставал с трудом и снова оступался.

— Эй, Искаир, — уговаривал его Ходорков, подбегая к упавшему, — ты, друг, не вались. Дай подсоблю.

Кужергенов смотрел на него виноватыми глазами.

— Немножко голова плохая стала. Очень неважный случай получается, совсем ходить не могу, слушай. Немножко лечь надо... Товарищ капитан, вы, пожалуйста, за меня не беспокойтесь. Я тут немножко полежу, потом немножко встану. А вы, пожалуйста, прошу, идите, товарищ капитан.

— Ну чего болтаете зря, Кужергенов, — проговорил Батыгин.— Что я вас, тут одного оставлю, что ли? Давайте сюда вашу руку. Вот так, через плечо. Ну, обопритесь как следует.

— Не надо, пожалуйста, товарищ капитан. Одному ходить можно, двоим — тяжело.

— А я вам ясно приказываю опереться. Ходорков, поддержите его с того боку. Вы, Кужергенов, ступайте одной ногой. Обопритесь на меня. Идем правильно. Выбрались у самого Усть-Наволока, теперь Вайда-Тунтури перевалим, а тут уже и наши. Туман только, не видать ничего. Ну, как, лучше вам, Кужергенов?

— Немножко ничего, товарищ капитан.

Туман, непроглядный и душный, обступал их. Он был так плотен, что люди плохо видели свои ноги. Белесая мяготь лезла в рот, клубилась, и казалось, что туман становится вязким, облипает тело, сыростью проползая под одежду. И зловещая тишина словно закладывает уши, глаза. Люди глохли. Но, широко раскрыв глаза, ставшие незрячими, они продолжали итти вперед. Батыгин, перекинув руку Кужергенова через свое плечо, крепко держа его за пояс, вел разведчиков за собой.

«Странно, — думал Батыгин, — должна быть уже балочка тут и сопка, а за ней у нас пятый батальон как раз. Неужели сбились? Хорошее бу-

дет дело, если не на ту высоту выйдем. Тут, слева, кажется, у немцев пост охранения...»

Они шли уже два часа, а может быть, больше, Ощущение времени потерялось в этом тумане, как терялось и представление о пространстве. Батыгин чувствовал, что его покидают последние силы. Туман, казалось, пропик в голову. Все мысли меркли в каком-то холодном чаду. Его начинало охватывать безразличие. Только лечь хотелось ему, лечь — и больше не вставать. Он старался думать о жене. Руки ее представил он себе, руки с тонкими пальцами, которые держат за утренним столом чашку с горячим кофе для него. И солнце играет на посуде, и пахучий парок поднимается из чашки и вьется над столом. Но стынет парок, становится густым, холодным и вязким. И опять все погружается в зыбучую муть.

И вдруг Батыгину послышалось, что где-то очень близко, за рыхлой стеной тумана, слабо прозвучала песня. Он остановил дыхание, он еще не верил. Но песня проступала все явственней. И вот Батыгин уже узнал и напев, и голос. Круто свернув, он уверенно пошел на песню, как на маяк. Яростная надежда колотилась в его сердце, несла его вперед. Мгла бессильно расступалась перед ним. И он вышел к песне, он вывел к ней товарищей.

Зинаида Павловна оборвала песню, увидев, как все слушатели ее вдруг обернулись, привставая и всматриваясь в туман. И оттуда, из тумана, навстречу часовым вышел огромный человек, показавшийся гигантом. Он шел, шатаясь, полунеся на плече своем бессильно обвисшего товарища, и паутина тумана, свиваясь, упала к его ногам.

— Димитрий! — закричала она и протянула руки.

— Товарищ полковник, — осевшим от сырости голосом начал Батыгин, — ваше задание... —

Он качнулся и сделал шаг вперед, чтобы не упасть. Полковник быстро пошел навстречу и крепко пожал ему руку.

И тут Илья Герасимович по собственному почину рванул мехи своего инструмента и хватил такой душевный вальс, что на посеревших, мокрых от тумана, лицах моряков расправились все складки, как на мехах баяна, словно гармонист своими проворными пальцами пробежал у каждого по самым заветным ладам сердца.

. . . .

— Тебе все сказали? — спросил Батыгин, когда они остались вдвоем с женой в блиндаже.

— Все, все, довольно об этом...

А потом им показалось обоим, что прибой внезапно усилился, удары волн становились все чаще, все ближе, все оглушительнее. Уже в самое сердце, в виски набатом било море и повелительно шатало весь мир... И после будто все стихло — и прибой, и ветер. Сердце, казалось, медленно покачивается на усмиренной волне.

Начинался отлив на море, истекал срок скупого солдатского забытья — война продолжалась. Война раскатила над мысом тугие громы береговых батарей, война прислала Ходоркова, который постучал в дверь и, деликатно покашляв, доложил, что катер ждет у пристани и через полчаса отбывает.

Абсолютный слух

Сам Перчихин полагал, что, будь у него мало-мальски подходящий голос, он, несомненно, стал бы знаменитейшим певцом. Но голоса у Семена Перчихина не было никакого, даже самого неподходящего. Зато он обладал совершенно феноменальным по остроте слухом. Я еще не встречал человека со столь чутким и точным ухом. Это и определило его военную специальность.

Родом он был из Кронштадта. Вырос в семье коренных балтийцев. Но плавать ему довелось на северных морях за Полярным кругом. Поразительная острота слуха, — он умел распознавать звуки, которые никто, кроме него, не улавливал, — пригодилась Семену Перчихину па флоте. Музыкальная карьера, о которой мечтал он, не получила здесь развития, но зато старшина второй статьи Семен Перчихин стал превосходным гидроакустиком на гвардейской крейсерской подводной лодке, которой командует Герой Советского Союза Звездин.

Когда подводный корабль уходил в дальнее автономное плаванье, тайком, с немыслимой смелостью пробираясь в районе, где стояли вражеские суда, связь с внешним миром обрывалась. Нельзя даже было принимать радио, так как чув-

ствительные пеленгаторы, аппараты-искатели, на неприятельских кораблях могли бы поймать слабое излучение в эфир, неустранимое даже тогда, когда радиоаппаратура лодки работает на прием. Лодка выдала бы этим свое место, и тогда — поминай, как звали...

В таких случаях приходилось подолгу итти в подводном положении. Опасно было даже на мгновенье поднять перископ. Единственной связью со всем, что оставалось за железными бортами лодки, были в эти минуты уши Перчихина с тонкими, причудливо изогнутыми раковинами, сквозь бледную кожу которых просвечивали нежные прожилки, что делало похожим ухо на какой-то экзотический цветок. Перчихин, втиснутый в крохотную каютку, безвылазно сидел у гидроакустических аппаратов и, ущемив голову наушниками, неотрывно слушал море.

Сколько раз предлагал он и мне послушать... Я тоже надевал наушники, слышал гул моря — и он мне ничего не говорил. Но для Перчихина раскрывалась целая книга звуков, неуловимых, ему одному понятных, шорохов.

— Как же вы не разбираетесь, вот послушайте, — пояснил он, возвращая мне наушники снова, — пух-пух, пух-пух, редкий такой звук, тяжелый, с придыханьем... Это транспорт ползет, солидная посудина. Километра четыре отсюда. А вот хорошо прослушивается стучок, такой переливчатый, металлом отзванивает, слышите? Это уже миноносец пошел. А где-то еще ботишка топает, — слышите? — движок у него кудахчет.

Но, как я ни напрягал слух, в ушах стоял только ровный, однообразный, легонько звенящий

гул. Однако, подняв перископ, мы видели на поверхности моря все, что слышал в глубинах его Семен Перчихин: и большой грузовой корабль в отдалении, и миноносец, конвоировавший его, и маленький рабочий бот, выходящий из гавани.

Море несло в себе тысячи шумов, и каждый из них был ясен и знаком Перчихину. Он легко расшифровывал эти звуковые иероглифы, и чуткое ухо его никогда не путало внешних звуков с целым оркестром шумов, шорохов, перезвонов, стуков, которые жили в самой подводной лодке, производились ею и тоже прослушивались через акустические аппараты. Перчихин с волшебной точностью распознавал малейшее движение на своем подводном корабле. Он безошибочно определял — какой механизм действует, каким ходом идет подлодка. Тиканье хронометра, посапыванье помпы — все слышал Перчихин. Он узнавал по звуку походки командира, комиссара, боцмана. Доходило до того, что Перчихин, не сходя с места, лишь приоткрыв двери своей каютки, кричал коку:

— Эй, в камбузе!.. Миронов, у тебя там кипит чего-то, смотри, чтобы не убежало.

О его необыкновенном слухе уже складывались целые легенды. Моряки охотно преувеличивали удивительные способности своего акустика, а сам Семен Перчихин не слишком стремился разоблачать эти россказни. Он непрочь был и сам блеснуть своим, действительно невероятным по чуткости, слухом.

— Ну, Перчихин, что слыхать? — спрашивали его соскучившиеся в долгом и трудном походе подводники.

Перчихин, согнувшись над своими аппаратами, приподняв один наушник и посматривая из-под

него на заглянувших к нему товарищей, неспеша докладывал:

— Что слышно? Да всякое слышно. Вот катер пошел километров пять отсюда. На форту кто-то песни поет... Ага! «Любил я очи голубые»... У гитары новый строй, только на одной струне слабина. Эх, тупоухие! Не в тон настроили... А вот сейчас камбала мимо нас проплыла. Определенно, камбала. Треска не так ходит, у трещечки звук другой.

— Да будет тебе травить, — смеялись подводники. — Как же это ты рыбу можешь слышать?

— Знаешь, какое ухо у меня поразительное, абсолютный слух, — не сдавался Перчихин. — Я самую тихую тихость чую. Я слово слышу, когда оно еще к тебе на язык только ладится, как присесть... Ты его еще не сказал, может быть, оно у тебя еще только в мозгах шевелится, а я уже его слышу. Вот, например, Костя Миронов смотрит на меня сейчас, и вот он сейчас скажет: «Врешь ты все, травила несчастный!»

— И верно, что травила, — сердился кок.

— Ну, вот я же говорю, что слышал заранее.

Миронов отплевывался, махал рукой и уходил в другой отсек. А Перчихин кричал ему вдогонку:

— Иди, иди, а то у тебя в животе бурчит, это мне на барабанную перепонку действует.

— Эх, — говаривал мне не раз Перчихин, — мне бы с моим слухом оперы на проверку брать, в лесу птицам голоса ставить... А я из-за данных военных условий должен фрицев прослушивать, всю их пакость... Довольно-таки неблагозвучно для моего слуха.

Как-то подводники решили подшутить над Пер-

чихиным. Когда он однажды спускался вниз по скобяному трапу в круглом железном колодце, ведущем на дно лодки, снизу подставили большой мешок. Перчихин, не видя, ступил в него, мешок сразу вздернули кверху, и, только голова Перчихина показалась из люка, края мешка сомкнулись над ней. Мешок крепко завязали. Все молча отскочили в сторону, давясь от смеха, ступая на цыпочках.

— А ну, развязывайте, — послышалось из мешка, в котором барахтался Перчихин, — все равно я же слышу, кто это тут начудил. Миронов, не ходи на цыпочках, ты не балерина, все равно я твою походку знаю. А вон в том углу — это Валяев сопит. Не давись понапрасну, я и так тебя слышу. И Чубенку слышу, у него кишка с кишкой разговаривает. «Перехватил, — говорят, — хозяин, борща...» А ну, живо развязывайте, а то я сейчас как выну бебут, да и распорю мешок к чертям на лапшу.

Пришлось разоблаченным шутникам освобождать Перчихина.

— Ну, у тебя же и ухи, — ворчал, выпутывая акустика из мешка, Миронов, — это же не ухи, а форменные звукоулавливатели.

Замечательный слух Перчихина уже не раз сослужил добрую службу в боевых походах подлодки. Это он первым услышал тяжелый, зловещий водяной грохот, исторгаемый могучими винтами германского крейсера. Он тогда помог Звездину точно определить место и курс немецкого корабля. Командир, веря своему акустику, рассчитал дистанцию, угол торпедной атаки, и Перчихин, отстранив наушники, чтобы не быть оглушенным, услышал два тяжких подводных взрыва. Это

Звездин нанес двойной торпедный удар и вывел из строя один из лучших кораблей германского флота.

Другой раз, идя на большой глубине, Перчихин расслышал над собой какой-то странный, легкий стрекочущий звук, с трудом отличимый от шумов, которые были «своими», то есть принадлежали самой лодке. И Перчихин доложил командиру, что наверху подводная лодка. Мало того, по непривычному звуку дизелей ухо Перчихина определило, что эта лодка не наша. Командир решил все-таки проверить это и на какую-то долю секунды подвсплыл и показал перископ. Он ясно разглядел крупную немецкую подлодку. Но немцы тоже заметили перископ. Вражеская подлодка стала быстро погружаться и выпустила торпеду по Звездину. Перчихин ясно слышал, как она прошуршала у него над самой головой, — прошуршала и ушла. И в морской глубине разыгрался смертоубийственный поединок двух подводных лодок. Бой шел вслепую. Противники не видели друг друга. Теперь все зависело от Перчихина. Он не выпускал врага из слуха. На лодке всем было приказано соблюдать полнейшую тишину. Перчихин припал к своим аппаратам, выслушивал море. Но немцы тоже притихли. Часа три длилось это напряженное молчаливое выжидание на глубине, потом у немцев, должно быть, сдали нервы, они пошли еле слышно, самым тихим ходом. Но от ушей Перчихина нельзя было скрыться. Он тотчас же доложил о маневре противника командиру. Звездин вышел на атаку и прямым попаданием торпеды размозжил немецкую подлодку.

Следует добавить, что своей славой всеслышащего человека Перчихин пользовался не только

в морских глубинах, но и на берегу... Так он познакомился с хорошенькой Дусей, подавальщицей в столовой подплава.

— Разрешите обратиться, — вкрадчиво произнес он, настигая Дусю недалеко от причала, — чересчур много про вас слышал.

— Зря вы все говорите, ну что такого вы могли про меня слышать? — возразила застенчивая Дуся, польщенная, однако, тем, что на нее обратил внимание прославленный акустик.

— Все слышал. Мне и телефона не требуется — беру на слух, невооруженным ухом. Имею такую способность. Другой и ухом еще не поведет, а я уже внял. Тем более, учтите — акустик я, Перчихин Семен, будем знакомы.

Дуся пользовалась у нас на базе подводных лодок большим успехом. И бедному Перчихину приходилось слышать о ней действительно очень часто и много от конкурирующих с ним товарищей.

— Это прямо вечная чертовня с ней получается, — жаловался мне Перчихин. — Собирался вчера с Дусей этой в ДКФ на кино сходить. Направляюсь, значит, к ней, а она уже идет по пирсу под прикрытием троих этих гавриков с «Гремучего». Идут около нее в пику мне противолодочным зигзагом. Я, конечно, пилоточку поправил, следую в сторонке, хотя веду наблюдение. Не обращает внимания, хотя видимость полная. Тогда я делаю захождение, ясное дело, подстраиваюсь к ней с левого борта... Но эти с «Гремучего» следуют за нами. Какая же это прогулка с таким конвоем?

Шансы Перчихина несколько повысились, когда на базе стали готовиться к большому вечеру

краснофлотской самодеятельности. Дуся недурно пела. Перчихин сперва намеревался выступить с ней в дуэте, но голос у него был такой, что ему пришлось удовольствоваться лишь ролью аккомпаниатора, — он хорошо играл на баяне.

На репетициях он успокаивал Дусю:

— Вы, Дусенька, прежде всего не волнуйтесь во время исполнения.

— Я и не волнуюсь нисколечко...

— Будете еще мне говорить. Что я, не слышу, что ли, даже издаля, как в вас сердце так и стрижет... Словно катер-охотник идет. Хотя, возможно, — добавлял он лукаво и трогал себя за гвардейский, только что отпущенный ус, — возможно, это по моей причине у вас в груди движок свой ход ускоряет.

— Больно много вы слышите! — сердилась Дуся.

— Акустика! — и Перчихин разводил руками, словно сам сокрушался, что он наделен таким сверхъестественным даром все слышать.

На лодке уже кто-то сложил песенку: «Идет у них акустика от кустика до кустика...»

Но незадолго до похода Перчихин пришел ко мне очень расстроенный.

— Надеялся получить «добро», а она мне написала «аз», — сообщил он мне мрачно.

А на языке морских сигналов это означало, что Перчихин рассчитывал на согласие, а получил отказ.

— Что-то у нас с ней все враздрай получается, не вышло нам с ней идти на параллельных курсах. Печальное дело... Или у меня подход к ней неправильный, или она сама меня не с того боку разглядела. Ладно. Как вернемся с похода, возьмусь с начала.

Уже надвигалась ранняя арктическая осень, когда лодка, выйдя в назначенный квадрат моря, пошла на погружение. Неуютная сырость и влажный холодок стали проникать под стеганки. Ярко горели лампочки во всех отсеках. Света было так много, что он казался плотным, распирающим тело лодки изнутри. Мнилось, что именно свет и поддерживает тут жизнь, а потухни он — и вода расплющит лодку, ворвется в нее. Подводники со спокойной деловитостью отбывали трудные часы похода, полные обыденной опасности. Они легко, привычно двигались в тесном пространстве между бесчисленными механизмами, рычагами, рукоятками, циферблатами, где непривычный человек путается, как таракан, попавший в стенные часы. Поход был серьезным, над головой давно сомкнулись чужие холодные воды, и Перчихин не отрывался от своих аппаратов.

Дальше все было, как обычно. Перчихин прослушал шум винтов, определил, что идет крупный транспорт в окружении, по крайней мере, пяти сторожевых кораблей. Значит, груз шел ценный, если его так охраняли. Стоило рискнуть.

Звездин взглянул на часы. Дело шло к ночи. Пользуясь темнотой, можно было подвсплыть и глянуть через перископ, откуда удобнее атака. Теперь все на лодке были охвачены тем строгим молчаливым вдохновеньем, которое дает начинающийся бой. Горизонтальщик Чубенко вел лодку «на ровном киле» под самой поверхностью воды, осторожно перекладывал рули. Звездин поднял перископ, чтобы оглядеться.

— Вести так! — приказал он. — Горизонта мне не замарайте. — Потом торпедисты услы-

шали знакомое: — Носовые, товсь!.. Сейчас я ему вставлю фитиля, — негромко проговорил Звездин, поворачивая перископ. — Залп!

Все это было знакомо подводникам, как и обычная сердитая реплика командира о фитилях, знаком был и тот легкий рывок, который ощутила лодка, освобождаясь от выпущенных торпед, — и все равно, каждый раз минуты эти были исполнены волнения, почти непередаваемого. Долгим казалось безмолвное ожиданье. И потом глухой продолжительный раскат, словно качнули лодку.

— Съел! — сказал Звездин, прислушиваясь, и улыбнулся. — А сейчас дадут нам фитиля...

Он не договорил. Над лодкой, стремительно уходившей в глубину, загрохотало, лодку швырнуло в сторону, мигнуло электричество. Это рвались наверху сброшенные сторожевиками глубинные бомбы. Перчихин давно уже снял наушники, грохот был нестерпимым и мог оглушить акустика. Бомбы сыпались сверху целыми сериями. Метался пузырек воздуха в розовой жидкости диферентометра. Лампочки тухли и зажигались, так как рубильники выключались от тяжелых толчков. Сто восемьдесят шесть взрывов насчитали подводники. Потом все стихло. Лодка оставалась неподвижной. Надо было отстаиваться на глубине. Нельзя было включить двигатель — сверху бы тотчас услышали. Перчихин, снова припав к наушникам, прослушивал поверхность моря. Прошло два часа, прошло четыре часа — целая вечность в неподвижности и молчании. Лодка отстаивалась. Прошло еще три часа. Сверху не доносился ни один звук. Уши Перчихина болели от дикого напряжения, больно

ломило голову. Но он не снимал наушников. В лодке становилось душно, кончался воздух. Начинало звенеть в ушах, и с каждой минутой Перчихину становилось все труднее и труднее выслушивать море.

Звездин решил уходить. Они пошли самым малым ходом. Но этого было уже достаточно. Три чудовищных по силе слитных взрыва обрушились на лодку. Потух свет, запахло какой-то едкой кислотой. Люди падали во мраке, цепляясь за механизмы, разбиваясь в кровь.

Очнувшись, лежа в полной темноте, Перчихин позвал:

— Есть кто живой?

Полное молчанье было ему ответом. Он прокричал еще раз свой вопрос. Ни слова, ни звука в ответ. Странная тишина пугала его хуже тьмы. Но вдруг вспыхнул свет. К Перчихину подбегали товарищи. Его подняли.

— Ну как, Сема, ничего, цел? — спрашивали его участливо. — Ты что кричал-то?

— Чего вы все молчите? — заговорил вдруг Перчихин, всматриваясь в лица товарищей и нехорошо озираясь. — Почему тихо так, не слыхать ничего? Стоим, что ли?

— Как стоим? — заговорили все наперебой. — Порядок. Идем, выбрались. Ты что, не в себе, что ли?

— Какого чорта, я спрашиваю, вы в молчанку играете? — закричал пронзительно Перчихин и ударил кулаком в железную переборку. Он прислушался, ударил еще раз изо всей силы и вдруг, поняв все, молча повалился ничком. На палубу отсека из ушей его текла кровь.

Да, он не слышал слов товарищей, не слышал, как напряженно работали двигатели, выводя лодку из опасного места, и только чувствовал, как дрожит металл под ногами. Не слышал он, как зажужжали вентиляторы, и только, жадно вдохнув ароматный, свежий воздух, понял, что лодка поднялась на поверхность. Он не слышал команды «дизель на винт», когда лодка помчалась в надводном положении к родным берегам. Он не слышал на другое утро торжественного условного залпа, который дал Звездин, входя в свою гавань и сообщая о победе. Он не слышал шумных приветствий на пирсе, когда его вынесли товарищи на руках в мир, полный ослепительной свежести и прохладного света, но мир, беззвучный, молчаливый и показавшийся Перчихину еще более страшным, чем могильная тишина там, внизу, в подлодке. Он не слышал, как вскрикнула пронзительно на набережной прибежавшая встретить его Дуся, завидя его на носилках. Он ничего не слышал. Только сердце свое слышал он, сердце, которое рвалось от тоски и неумолчной болью отдавалось в пораженных ушах.

В госпитале, где я навестил его в тот же день, врач сказал мне, что у раненого близким взрывом глубинной бомбы повреждены барабанные перепонки, но положение не безнадежное. Многое зависит от того, сумеет ли Перчихин держать себя в руках, ибо у него, — сказал врач, — наблюдается небольшое сотрясение мозга и поражена нервная система.

Он лежал, откинувшись на подушку, с забинтованной головой. Завидя меня, он жалко улыбнулся.

— Видал, какая чертовня,— сказал он виновато, — куда ж это годится... И песен не послушаю... Ведь какие песни после войны запоют. На берег, значит, списан, к Матрене-бабушке. Нет, врешь, отставить! Дядя шутит! — закричал он. — Не пройдет. Глаза у меня еще при себе. Я фрица сквозь воду до дна слышал. Я его теперь сквозь стену, под землей разгляжу, паразита. Я глаз. натяну до ужасной силы, до невозможности! Я его узрю. Я еще с вооружения не сымаюсь... Запас плотности еще имею! Что же вы молчите? — произнес он жалобно. — Вы хоть головой мотайте, что ли, подмаргивайте или мимику руками подавайте, что согласны, верно ведь говорю?

Пришел Миронов, сигнальщик Павленко. Перчихин отлично знал морской семафор, и сигнальщик, став перед койкой, бойко выбрасывая вверх и в сторону руки, что-то долго семафорил оглохшему акустику. Перчихин заулыбался.

— Стой, стой, ты пиши не так шибко. Я за тобой не поспеваю. Размахался, словно полькой-мазуркой дирижируешь. Так притти хочет — говоришь? Ты ей кланяйся, привет передай, скажи — пусть через пяток дней зайдет, а то у меня уж больно видимость неважная, отшибить может начисто, честное слово.

Через пять дней я пришел к Перчихину вместе с Дусей. Врач с таинственным выражением лица повел нас в палату к раненому. Повязки с головы Перчихина были сняты. Только в ушах еще белела марля. Увидев Дусю, Перчихин покраснел и натянул одеяло до подбородка. Мы молча поздоровались. Дуся тоже залилась краской и, опустив глаза, села в сторонке.

— Вы хоть сядьте поближе к нему,— сказал я, — уж будьте с ним поласковей.

— Да, господи,— застеснялась Дуся,— уж я не знаю... Да разве я... Ведь он же сам знает. Ведь я сколько раз Семочке говорила...

— В первый раз слышу! — громко сказал Перчихин, быстро присаживаясь на койке.

Федя из подплава

Он знал уже около десяти букв, когда я приехал впервые на одну из заполярных баз Северного флота. Этого было вполне достаточно, чтобы запечатлеть свое имя на торпеде в назидание Гитлеру и всем фашистам...

За этим занятием я и застал его позади плетня из колючей проволоки, ограживающего базу подводных лодок. Когда я, предъявив часовому свой пропуск, вошел во дворик подплава, как сокращенно называют моряки флот подводного плавания, подводники как раз грузили торпеды на большую крейсерскую лодку. Длинное темнозеленое щучье тело подводного корабля вытянулось на воде у причальной стенки, возле так называемого пирса. Над пирсом нависала огромная скала. В ней были проделаны входы в подземные пещеры, где хранились торпеды. Краснофлотцы в рабочих холщевых робах клали громадную торпеду на специальную тележку и вывозили из пещеры. Сперва в сумраке каменного логова появлялась округлая голова торпеды, а затем, опираясь на низкие колеса, как на лапы, выползала она вся целиком, похожая на

исполинского тритона, узкая к хвосту, тяжелая, гладкая, зло поблескивающая на солнце. На нее наводили жирный слой смазки, напоминающий по виду ягодное варенье или джем.

Вокруг торпеды вертелся мальчишка лет восьми, худенький, с острым носиком, красный кончик которого был, пожалуй, ближе к безбровому лбу, чем к верхней губе. На мальчишке была большая, явно не по голове, синяя пилотка с блестящим якорем впереди, а на рукавах запачканной курточки красовались одна над другой нашивки минера, связиста, артиллериста, командора, электрика и сигнальщика. Красные стрелы, пересекающиеся молнии, якори, гаечные ключи, пушки, вымпелы... Нашивок было так много, что они едва умещались между плечом и потрепанным обшлагом, из которого вылезала худая рука мальчика. Мальчуган деловито оглядывал вывезенную торпеду, обходил ее со всех сторон, затем садился перед ней на корточки и, шмыгая от усердия вздернутым носом, старательно выводил что-то пальцем на смазке, покрывавшей торпеду. Я подошел ближе. Сквозь розовато-коричневую пасту тускло поблескивала металлом протертая пальцем надпись: «Ат Фэди». Косая перекладинка у буквы «и» была наклонена не в ту сторону, буква поэтому выглядела, как знак номера — №, и я догадался, что «э» получилось у мальчика тоже нечаянно.

— Ну, Федя, — спросил я, — чем это ты, брат, занимаешься?

— Расписываюсь, — отвечал Федя, искоса взглянув на меня и подправляя пальцем сделанную им надпись.

— Это зачем же?

— Пускай знают, от кого,— сердито произнес мальчишка. — Они уж мой почерк знают. Я каждый раз расписываюсь.

— А кто же ты такой тут будешь?

— Я? — как будто удивившись, спросил мальчик и, еще выше подтянув нос, посмотрел на меня снизу без всякого одобрения. — Я тут один-единственный у них мальчишка...

— У кого у них? Чей единственный?

— Ну, у всех... флотский. Я отсюда, с подплаву. Не знаете, что ли? — И он отошел от меня к другой торпеде, которую в эту минуту выкатывали на тележке из-под скалы.

Один из краснофлотцев-подводников, подхватив свободной рукой Федю подмышку, не останавливаясь, посадил его верхом на торпеду, и так он прогарцовал мимо меня, плотно обхватив ногами круглое и толстое тело огромного смертоносного снаряда.

— Расступись, народ, царь Федор на коне едет! — крикнул с мостика подлодки, вылезая из люка, человек в промасленной форменке, должно быть, механик. — Ну как, Федя, приложил руку?

— Порядок,— отвечал Федя.

— Это что, сынишка кого-нибудь из ваших? — обратился я к краснофлотцу, который назвал Федю царем Федором.

— Да нет, тут целая такая история,— отвечал вполголоса подводник. — Это Федюшка Толбеин. Наш, с подплаву. Привышный. У него отец боцманом был из поморов на восемнадцатом номере, на буксире. А когда в прошлом году семей эвакуацию сделали, шли отсюда морем, - немцы, дьяволы, в море их застукали. Налетело штук пять и давай долбить. Там женщины, ребята —

страшное дело! Прямо с бреющего. Видели ясно, что народ не военный, а так и не отстали, пока не докончили. Покуда с берега подоспели, уже мало кто на плаву держался. И отец его, и мать Федьки этого, и сестренка тоже была — все погибли. А ему повезло. Буек якорный бомбой отхватило, он за него и уцепился. Единственный, кто спасся. Ну, доставили его на базу. А тут его Дуся приютила, что в кают-компании подает, знаете, официантка? Так он тут и остался, на подплаве у нас. Единственный в своем роде, так сказать. У нас ведь тут ни в заливе, ни в одной губе детей не сыщешь, всю ребятню эвакуировали, как война началась. Ну, а уж Федька, так вышло, осел, видно, надолго. Да и нам, знаете, все-таки веселее глядеть, а то забыли уж прямо, какие ребята бывают. Ведь один-единственный.

Так я узнал историю Феди Толбеина, общего сына подводников, воспитанника и любимца североморцев. Его очень баловали на подплаве. Знаменитейшие подводники, герои Советского Союза, сам прославленный, Звездин, стремительный Сухарьков, неугомонный Фальковский дарили его своей дружбой. И когда лодка уходила в боевую операцию, Федька всегда провожал своих друзей, стоя на пирсе, и долго глядел вслед ушедшим. У моряков Северного флота есть обычай делать надписи на смазке торпед. «Гитлеру под микитку»,— писали подводники на торпедах. «Фашистским гадам от североморцев»,— выводили они на грозных своих снарядах, заряжая торпедные аппараты,— за Киев, за Севастополь...» Как-то Федька напросился, чтобы и ему разрешили тоже сделать надпись. Он знал несколько букв и вы-

вел на торпеде свое имя. И вышло так, что герой Советского Союза Исаак Аркадьевич Фальковский этой самой торпедой, которую написал Федька, потопил большой немецкий пароход. Фальковский шел на маленькой лодке,— их на флоте называют «малютками». Неприятельские миноносцы охраняли корабль с ценным грузом. Но «малютка» смело проскочила под кораблями охранения, и торпеда с надписью «Ат Фэди» угодила прямехонько в фашистский пароход. Он взорвался, зарылся носом в воду и вскоре пошел ко дну. С тех пор вошло в моду брать в поход торпеды с Фединой подписью. Моряки шутливо уверяли, что у Феди легкая рука и он приносит счастье подводникам.

Федька целые дни торчал в подплаве. Он играл в классы, вычерчивая их мелом на толстых досках пирсов, и, когда кто-нибудь неосторожно ступал в клетку, Федька сердито кричал:

— Ну где ходишь? Не видишь — тут обозначено ясно... заминировано!

Фальковский подарил ему оставленный кем-то из эвакуированных трехколесный велосипед. По возрасту Федьке полагалось бы ездить уже и на двухколесном. Но лишняя спица в колеснице мало смущала Федьку. И, широко расставив, чтоб не задеть руля, коленки в продранных чулках, Федька раскатывал на своем трехколесном велосипедике по пирсу, лавируя между кнехтами для причала, торпедами, бочками. Однажды он даже ухитрился въехать по крутому узкому трапу на стоявшую у стенки крейсерскую подводную лодку Звездина, но получил за это такой нагоняй, что два дня после этого ходил пешком, боясь показаться на велосипеде у подводников.

— Ах ты, Фэдя, Фэдя,— говорил ему Фальковский, с которым они особенно сдружились,— и что из тебя будет, Фэдя? Темно и непонятно! Если ты себе голову нигде не оторвешь, то она тебе пригодится в хозяйстве, но ты ее оторвешь себе...

Кто-то подарил Федьке старую пилотку подводника. Хотя ее и ушили сзади, все-таки она была велика Федьке и оттопыривала ему уши. Подводники, минеры, электрики, сигнальщики, покупали ему форменные нарукавные нашивки во Флотторге, и вскоре Федька стал похожим на чемодан путешественника, клеенный со всех сторон облатками гостиниц. Однажды приехали разведчики с Рыбачьего полуострова, из далекого моря на самом краю света. Они давно не бывали на Большой земле. Обступив Федьку, они с веселым и нежным изумлением оглядывали его.

— Смотри. Нормальный дитенок точно! — сказал один из них, огромный человек, у которого сквозь расстегнутый воротник пехотной гимнастерки видна была матросская тельняшка. — Точно! Жизнь, значит, идет своим курсом, пацаны на велосипедах ездят. Порядок! Жми, жми, браток, качай педали!

И он подарил Федьке трофейный перочинный ножик.

На другой день Фальковский встретил Федьку недалеко от подплава. Федька шел в гости к разведчикам, которые остановились в доме у начальника порта. Увидев своего друга, Федька быстро застегнул курточку. Это показалось подозрительным Фальковскому.

— А ну-ка, ну-ка, что ты там хоронишь?

Федька старательно закашлялся.

— Простыл, вчера, Исаак Аркадьевич.

— Простыл? А ну-ка расстегнись, давай сюда твою простуду. Дай-ка я тебя послушаю.

— Да так ничего не слыхать, Исаак Аркадьевич, а только очень горло корябает и прямо кашляешь, кашляешь, даже больно.

— Ну, если не слыхать, то, может быть, видать что-нибудь, а? — настаивал неумолимый Фальковский. И, отведя руки Федьки в стороны, расстегнул курточку. — Это кто тебе тельняшку сообразил? Да погоди, это же у тебя прямо на коже? Ой, Фэдя, Фэдя... Я же от тебя получу разрыв сердца раньше времени.

— Не щекотитесь, у вас руки холодные, и так я весь простыл, — проворчал сконфуженный Федька, запахивая курточку, под которой вся кожа на груди была расписана химическим карандашом в синюю полоску, чтоб людям казалось, будто Федька носит матросскую тельняшку.

Фальковский обещал никому не говорить об этом происшествии. Уведя Федьку к себе, он с трудом отмыл его горячей водой. И дружба знаменитого подводника с Федькой еще более укрепилась после этого.

Вскоре Фальковский ушел в опасный поход на своей «малютке». Федька расписался на двух его торпедах. Через несколько дней на базе были получены недобрые сведения. Федька подслушал, как Звездин тихо говорил Сухарькову:

— Слышал, Валентин, немцы Фальковского обнаружили? Он там кого-то подколол, а теперь за ним гонятся, глушат его.

— Может, отлежится на дне, — тихо проговорил Сухарьков.

— Ну да, отлежится. Исаака не знаешь. Это

же такая горячка, непременно рискнет. Да и сколько можно ему отлеживаться? Он уже и так время просрочил. Все, наверное, у него к концу подошло.

— А что, значит — опасно ему? — не выдержал и вмешался в разговор Федька.

— Что опасно? Ничего не опасно. Услышал звон, и уже «опасно». Садись-ка, брат, лучше на свой трехколесник и катай себе...

Но Федька не сел на велосипед, Федька взобрался на высокую причальную тумбу и долго сидел на ней, смотря на бухту, в которой стояли миноносцы, сторожевые суда, катеры-охотники. Все были тут, все на месте, только Фальковского не было, и пустовал бон, в котором обычно стояла его «малютка». Холодная зеленоватая вода неуютно плескалась там между свай и словно всхлипывала. Противными голосами мяукали чайки, боком летя по ветру. Федька сполз с кнехта и, понуро глядя в неуютное море, побрел с базы, ведя одной рукой свой велосипедик, педали которого качались впустую, как все в этот день. Вечером Федька не стал есть пончики, которые принесла ему из салона командирской кают-компании Дуся. Он потом рассказывал мне, что долго не мог заснуть, все думая о Фальковском... Страшно, должно быть, когда вокруг тебя вода и над головой все вода и вода и рядом рвутся, толкая что есть силы лодку, страшные глубинные бомбы — вот-вот попадет, вот-вот сомнет, расплющит. Намучившись, Федька заснул. Под утро ему стало холодно, и Федьке приснилось, что он лежит в холодной воде на самом дне и уши у него стали, как жабры, и он дышит ими, впуская

воду в одно ухо и выпуская из другого. А сверху вдруг нырнула и пошла, булькая, прямо на него глубинная бомба, и вот как рванет!.. Федька проснулся от гулкого удара за окном. За ним последовал второй. И вскочивший Федька увидел легкий дымок, еще вившийся у пушки на подводной лодке, которая в эту минуту, подняв позывные, быстро входила в гавань. И Федька сразу узнал «малютку» Фальковского — никто, кроме него, не врывался на таком ходу в узкую горловину залива. А два залпа, которые дал, входя в гавань, Фальковский, означали, что лодка возвращается с победой: два фашистских корабля пущены на дно.

Федька выскочил на набережную. Подводники бежали к пирсу. Обгоняя их, задевая за локти, получая ободрительные подзатыльники, изо всех сил нажимая на педали, мчался Федька к причалу на своем велосипедике. Он едва не сшиб с ног огромного мичмана Милехина, старшего кока столовой подплава. Кок бежал в белом колпаке на затылке и в белоснежном переднике. Он бормотал, отдуваясь:

— Это же прямо чистое наказание. Не напасешься на них.

А подводники, опережавшие его, кричали:

— Плакали твои поросятки, Милехин! Слышал? Фальковский два залпа грохнул. Значит, жарь двух поросят. Точно! Ничего не поделаешь, уж как водится. Закон! Порядок!

Федька подоспел в тот самый момент, когда с лодки бросили причальные концы и Фальковский, щуря опухшие, красные от усталости глаза, соскочил на доски причала. Нет, Федька не кинулся к своему другу. Федька знал морские по-

рядки. Он терпеливо стоял в стороне, радостно таращa глаза и не сводя их с командира, который, приложив руку к фуражке, докладывал контр-адмиралу — начальнику подплава о законченной операции.

— Потоплены два неприятельских транспорта: один порядка восьми тысяч тонн, другой, полагаю, тысяч на шесть,— рапортовал Фальковский,— затем я подвергся атаке двух миноносцев. Всего было сброшено двести восемьдесят две глубинных бомбы. Ушел. Задание выполнено. Имеются незначительные повреждения. Люди здоровы.

И тут только Федька заметил страшные следы, которые остались на лодке от близких разрывов глубинных бомб. На железной палубе все было покарежено, вмято, погнуто. Кое-где даже на обшивке зияли разошедшиеся швы. А тем временем довольный контр-адмирал уже закуривал, не забыв предложить папиросу и вернувшемуся герою. Вопросы, которые задавал теперь начальник, переходили уже в обычный дружеский разговор. Официальная часть встречи закончилась. Звездин и Сухарьков поочередно обнимали Фальковского и, довольные, хлопали его по кожаной спине.

— Мои попали? — спросил наконец Федька, пробравшийся вперед из-под чьего-то локтя.

— Точно! — засмеялся Фальковский. — Обе «Ат Фэди».

— Холодненькие или горяченькие пошли? — деловито осведомился Федька, желавший знать все подробности, а он слышал не раз, что при выпуске торпеды в ней должен сработать аппарат, подогревающий сжатый воздух,—тогда торпеда идет «горячей», имея большую скорость.

— Судя по тому, как фрицы спешили окунуться в холодную воду, им там было очень горячо,— ответил Фальковский.

Дня через два на базу налетели немецкие бомбардировщики. Корабли подняли на мачтах клетчатый, желтый в шашках, флаг «Твердо». Это был сигнал тревоги. В порту коротко пролаяла сирена. Все бросились на свои места. Ударили зенитки с миноносцев, сторожевых кораблей, били пушки с подлодок. Катеры и буксиры, спешно отваливая по правилам тревоги от стенки, выплывая к середине залива, также били на всем ходу по самолетам из крупнокалиберных пулеметов и автоматических пушек. Ударил из своего главного калибра миноносец «Громокипящий». Эхо выстрелов раскатилось по заливу, отдаваясь в скалах. В домах на набережных посыпались стекла, лопнувшие от невероятной силы звука. Второй раз ударил из главного калибра «Громокипящий», и передовой немецкий бомбардировщик, волоча за собой космы дыма, отвернул в сторону, выбросил длинное пламя, качнулся и, неуклюже вертясь, стал падать за ближнюю сопку. Чуточку в стороне от него выхлопнул и распустился в небе белый цветок парашюта, он медленно опустился и исчез за скалами.

— У Тойва-губы сел,— определил Звездин, вместе с нами следивший за воздушным боем.— Как бы не ушел фриц, его потом в сопках по найдешь. А до фронта тут рукой подать, ищи-свищи.

— Минутку,— сказал вдруг Фальковский,— а где наш Федька? Где Федька, я спрашиваю? Он же там как раз, у Тойва-губы ягоды собирает, чтоб ему...

Действительно, Федька теперь по полудня пропадал на сопках, где в этом году было необыкновенно много черники, голубики, брусники и морошки. Он приходил с фиолетовыми губами, синезубый и показывал нам такой язык, будто он вылизывал чернила.

— Федька там, вы понимаете или не понимаете? — закричал на нас Фальковский.

И мы стали карабкаться на сопку, чтобы скорее добраться до Тойва-губы, чтоб изловить немецкого парашютиста, чтобы защитить нашего Федьку. Краснофлотцы оцепили район, куда ветер отнес парашютиста. Мы шли, прыгая со скалы на скалу, осматривая расщелины, обходя небольшие озера, заглядывая под каждый валун. Нигде не было парашютиста, исчез и наш Федька. Больше всех волновался Фальковский. Он считал Федьку уже погибшим, слал проклятия на головы фашистов, и спокойный, рассудительный Звездин тщетно пытался успокоить его.

На поиски парашютиста вылетел с аэродрома летчик Свистнев. Он кружился над сопками, несколько раз прошел над нами, разглядывая местность. Вдруг самолет заложил крутой вираж, повернул обратно и стал описывать круги над небольшим ущельем между двумя высокими скалистыми утесами. Летчик, высунувшись из кабины, махал нам рукой, указывая куда-то вниз. Срываясь с камней, перескакивая через ручьи, помчались мы. Через минуту мы были на краю скалы. И там, внизу, на темном сыром мху мы увидели выложенное из белых камней, ярко выделяющееся, огромное: «Фэдя». Бедняга! Он, должно быть, очень волновался и спешил, выкладывая здесь из камней свое имя. Букву «я», ко-

торую он обычно писал правильно, здесь он повернул в другую сторону на манер латинского прописного «R». Вскоре мы увидели самого Федьку: он сидел, притаившись под нависшей скалой, и, увидев нас, стал делать нам какие-то знаки, прикладывая палец к губам, хлопая себя по рту, требуя молчанья и таинственно показывая куда-то в сторону. Мы спрыгнули к нему вниз.

— Он там, там,— шептал нам Федька фиолетовыми от черники и дрожащими от волнения губами. — Вон он, за тем камнем... У него нога свихнулась. Я видал, как его сбили, побежал за ним, а он в меня как пульнет из «шмайсера» своего,— думаешь, не страшно? Я и спрятался тут. Потом хотел было вылезти, до подплаву добежать. Что ж, не до вечера сидеть, сторожить, а он опять как жахнет в меня,— думаешь, вру? Пуля так и чиркнула, аж камень брызнул... Я вижу, самолет летает, поиски делает, а мне встать фриц не дает. Ну и выложил расписку свою. Ползал, ползал, весь живот себе протер, коленки продрал,— думаешь, не больно? Так и собрал камни и выложил. Летчик сразу сверху мой почерк узнал... А фриц этот вон туда заполз.

Краснофлотцы кинулись к скале и вытащили из расщелины спрятавшегося там немца. Он сразу бросил свой автомат — «шмайсер», увидев, что моряки окружили его со всех сторон.

Случай этот сделал Федьку совсем знаменитым на базе. Американцы с недавно пришедшего транспорта, гуляя по набережной и завидя Федьку, подходили к нему, трепали его по плечу, щупали все его многочисленные нашивки и гово-

рили, что Федька — о-ки-доки бой... то есть парень — что надо...

Но вот кончилось короткое полярное лето, стали наползать туманы, солнце остывало, готовясь уйти на зимнюю спячку, и на подплаве однажды вечером в кают-компании зашел разговор о дальнейшей судьбе Федьки.

— Балбесу уже за восемь перевалило, пора бы ему буковки не только на торпедах писать,— сказал сурово Звездин. — В школу его надо отправить. Война войной, а ему расти, учиться время.

— Странный вопрос, разве я возражаю! — загорячился Фальковский. — Надо, так надо. Ясно, что мальчик должен учиться. Жалко, конечно, отпускать. То есть, это я говорю, мне жалко. Не знаю, как другим...

— Никто не говорит, что не жалко,— проговорил, вздохнув, Звездин,— я уже своих четырнадцать месяцев не видал. Тоже жалко. — Он помолчал немного. — Учиться дети должны в спокойном месте, я, по крайней мере, так считаю. Не знаю, как другие...

Посоветовались с Дусей, опекуншей Федьки, и решено было отправить его в тыл, в один из беломорских городов, где имелся интернат для детей моряков. Я не знаю, как удалось Фальковскому уговорить Федьку. Он и слышать сперва не хотел об отъезде. Но, видно, уважение к герою взяло верх, и Федька согласился.

Двадцать шестого августа мы провожали Федьку... Полярная осень подарила Федьке один из своих лучших дней. Воздух был прозрачен так, что даже на большом расстоянии все виделось резко, отчетливо, словно высечено было из камня. Вода в бухте была зеркально спокойной. Ска-

лы розовели. Белые чайки вертелись над нами, и слабый ветер едва-едва шевелил нарядные флаги военно-морского флота — белые с синим и красным — и пестрые сигналы свода на кораблях.

Сколько всякой снеди натащили подводники Федьке на дорогу! Сколько банок со сгущенным молоком, консервов, шоколадных кубиков! А мичман Милехин притащил копченую грудинку. Командир катера, на котором Федька отправлялся в науку, уже заявил, что если товарищи командиры будут еще нести довольствие, то пускай тогда они закажут специальную баржу, а на катере он базара разводить не может...

Потом все прощались с Федькой. Он был хмур и казался похудевшим в новой просторной курточке, на которую перешили все знаки со старой.

— Ну, смотри ты у нас там, Федор, — напутствовал его Звездин. — Учиться, так учиться, а иначе браться не стоит. Хоть ты теперь и отпрядыш, как у нас поморы говорят, отскочил от нашего берега, но породу свою соблюдай, помни, что ты Федор Толбеин с подплава.

— А, ей-богу, какие тут разговоры, — забормотал Фальковский, беря Федьку за обе щеки. — Поезжай, поезжай, Федька. Терпеть не могу этих расставаний, только настроение портишь себе. Ну, двигай, двигай, Федька, давай ходу. Вот тебе еще плиточка шоколада.

И Фальковский сунул в руку Федьке большую плитку.

На катере включили мотор, из-под кормы кругами пошла вода и пена. На мачте взлетели три флажка — позывные. На выходе из гавани у сторожевого поста на высокой мачте подняли золотистый флаг «Добро». Это был знак согласия —

разрешение на выход из гавани. Маленький буксир стал оттаскивать в сторону сети и боны заграждения. Буксирчик был похож на дворника, торжественно открывавшего ворота для выезда хозяина со двора. Он оттащил заграждение в сторону, и катер, на котором стоял Федька Толбеин, питомец подплава, единственный и последний мальчишка во всей морской округе, ушел в открытое море.

Молча стояли на пирсе знаменитые подводники, Герои Советского Союза Звездин, Сухарьков, Фальковский. Долго стоял и я с ними, глядя вслед катеру, который уносил от нас нашего Федьку.

— Ничего не поделаешь, Федька должен учиться,— сказал Звездин.

— Что говорить, — отозвался Фальковский, встрепенувшись, но не отворачиваясь от моря. — Ясно, Федька должен учиться, а мы должны воевать... Все-таки я завтра на одной торпеде своей, как хотите, а напишу... Только как бы это потолковее выразить? За будущее Федьки, что ли? Понимаешь? Или во имя, что ли? А! И так понятно! Просто напишу: «Чтоб Федьке было хорошо», и пусть ему будет хорошо!

У выхода из гавани буксир поставил на место заграждения. Катер уже давно скрылся за скалами мыса. С мачты у сторожевого пункта спустили флаг «Добро». А мы все стояли на берегу и смотрели в море — моряки, мужчины, отцы, давно не видевшие своих детей.

Черная шаль

Шаль эту мы выбирали вместе: боцман и я. Накануне Трофим Егорович Штыренко пришел в мою каюту, помялся немного, спросил, чтобы соблюсти приличие, не засоряется ли у меня умывальник, отвернул кран, пустил воду, убедился, что все исправно, а потом, как бы собираясь уходить, смущенно обминая на себе робу, проговорил:

— Вы не будете такие добрые, что завтра сходите со мной до города. Хочу присмотреть гостинец для жинки. Шаль там какую иль, мабуть, одеяло и прочее. В целом сказать, чтобы была память за Испанию.

Я согласился.

— Ну, спасибо,— обрадовался он. — А то я сам никогда бабьего вкуса не понимаю, что им такое требуется. А вы, как помоложе, то, конечно, в этом деле еще разбираетесь. Так, будьто добрые, найдите времечко.

Наш теплоход «Менделеев» стоял под выгрузкой близ Валенсии. В Испании шла война. Далеко, дома, за семью морями отсюда, тревожились за нас жены. Рейс был опасный.

Из Батуми мы ушли ночью, нас никто не провожал. Со всеми простились еще с вечера. Я

слышал, как в конторе порта наш старый боцман гудел в телефон, прикрыв рожок трубки своими сивыми обвисшими усами:

— Ну, счастливо, Феня, бывай здоровенька. Не сумлевайся, все в норядке будет... Феня... Фе-э-эня!.. Ты слухай!..

Он вздохнул, покосился на меня, совсем зарылся усами в трубку.

— Главное, зря не сумлевайся. Вполне обыкновенный рейс. К сроку будем... Здоровье береги, Фонична. Деньги в конторе двенадцатого получишь. Ну, счастливо, Феничка. — Он медленно, как допитый стакан, отнял трубку ото рта, бережно повесил ее на рычажок аппарата и клетчатым платком, купленным в Стамбуле, отер усы.

Я никогда не видел его жены, но по той нежности, с какой он говорил о своей Фене, и по осторожным шуткам, которыми команда намекала на запоздалую любовь нашего боцмана, составил себе портрет супруги Трофима Егоровича. Мне представлялась маленькая тихая женщина, привыкшая терпеливо сносить долгую разлуку и благодарно радоваться недолгим дням свиданий, которые не так-то часты в семейной жизни моряка дальнего плавания. Я охотно согласился помочь боцману и вместе с ним выбрать гостинец, чтобы угодить его Фене.

Ночью нас бомбили. Пароход, стоявший под мексиканским флагом у стенки, недалеко от нас, загорелся. У нас, на «Менделееве», все обошлось без происшествий...

Утром, пока мы шли от порта до города, Штыренко рассказывал мне о том, как хорошо у него дома и до чего славно живут они с женой, и как она обрадуется гостинцу.

В лучшем магазине Валенсии «Ольтра» мы добрый час выбирали подарок для Фени. Увидев на моей фуражке золотого краба с красным флагом — герб Совторгфлота и узнав, что мы «маринос дель барко руссо» — моряки советского корабля, продавцы радушно выложили перед нами самые лучшие товары. Для нас расстилали на прилавках знаменитые валенсийские одеяла. Розы, тореадоры и пляшущие девушки были изображены на них. Они были легки, — эти одеяла, — и так пушисты, что края, казалось, истаивают в воздух. Но выяснилось, что у жены боцмана уже есть хорошее одеяло. И, кроме того, Трофим Егорович хотел привезти своей Фене такой гостинец, чтобы она могла в нем покрасоватьтя перед людьми.

— Только что-нибудь такое поглаже. Да чтобы в глаза очень не шибало, — объяснил мне Штыренко. — А то не наденет, она у меня тихая, в целом сказать. Да и годы ее уж под смирный цвет подходят. Вот что-нибудь такое.

И после долгих взыскательных поисков мы наконец выбрали шаль. Как вам описать эту шаль?.. Вот если бы снег был черным и из черных микроскопических звездочек — снежинок, одна к другой, было бы сплетено кружево, вот тогда бы, может быть, получилась шаль, которую мы выбрали с Трофимом Егоровичем в магазине «Ольтра». Она казалась сыпучей, готовой развеяться от дуновения ветра и осесть черным инеем на прилавке. Продавец расправил шаль, взмахнул ею, как матадор-плащом, и над нами пронеслась легкая тень, вся в блестках, вся прохваченная насквозь мерцающим светом... Потом скомкал ее, взял боцмана за руку, спял с

его твердого пальца медное обручальное кольцо и пропустил через него всю шаль. Пышное кружево прошло сквозь узкий ободок, как черный песок через воронку песочных часов.

Эту шаль мы и выбрали для жены Трофима Егоровича.

На «Менделееве» шаль тоже одобрили. Вся команда перебывала в каюте Трофима Егоровича. Боцман для каждого с великой охотой распаковывал сверток, и перед глазами матросов, механиков, мотористов, электриков взлетала сыпучая чернозвездная тень кружевной испанской шали. А вечером сменившийся с вахты моторист Валахов, настроив гитару, пел нам, вздыхая и подмигивая боцману:

Смотрю, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль...

Трофим Егорович, довольный и сконфуженный, топорщил усы.

Что было с нами на обратном пути,— вы, вероятно, помните, если читали газеты.

Мы возвращались домой и уже прошли мыс Матапан. Справа оставался греческий остров Кифера. По голым каменистым склонам берега бродили скучные овцы. Как всегда, когда корабль проходил это место, Штыренко, убежденно гудя в усы, рассказывал, что греческие пастухи тут своим овцам зеленые очки нацепляют, чтобы они лишай и всякую там дрянь за траву считали. До того это бедная местность...

Так разговаривали мы, сидя на палубе за камбузом. Валахов лениво нащупывал какую-то мелодию на гитаре. Солнце уже садилось за Матапан... И в это время вахтенный затопал над на-

ми, скатился вниз с мостика и спросил, где капитан. Вид у него был такой, что мы сразу все вскочили и кинулись к борту. Пока я старался рассмотреть, что происходит на море, глазастый Штыренко, все поняв с одного взгляда, негромко и озабоченно пробасил:

— Подводная лодка на нас идет... Как в газетах пишут, неизвестной национальности, но по всей ясной видимости, что сволочь... А ну, хлопцы, в целом сказать, давай по местам! Живенько, моментом!

Навстречу нам от архипелага, буравя волны, оставляя пенный след, неслось узкое злое и горбатое тело подводной лодки. Она мчалась прямехонько на нас. Нас уже предупреждали по радио о том, что в этих водах шныряют таинственные подлодки, топя мирные суда, идущие в Испанию или возвращающиеся оттуда. И мы поняли, что нам предстоит.

Сигналами нам приказали остановиться и дали десять минут на то, чтобы спустить шлюпки и оставить судно. Для большей убедительности и чтобы поторопить нас, с лодки выстрелили из орудия, и снаряд проверещал над нашими мачтами.

— Паразиты, чтобы им якорем печенки повыскребло,— пробормотал Штыренко.

По приказанию капитана, он распоряжался посадкой на шлюпки. Все уже спустились, матросы, стоя на взлетающих шлюпках, отталкивались веслами от борта корабля. На палубе оставался лишь боцман. Он хозяйственно связывал мешки с провизией, принес хлеб, опять побежал куда-то. В эту минуту, без предупреждения, лодка пустила торпеду. На шлюпках заметили ее и стали быстро отгребать в сторону.

— Штыренко, прыгайте! — приказал капитан.

И боцман понял, в чем дело. Он вскочил на планшир и бросился в воду. Но, вместо обычного всплеска, косматый столб воды, пронзенный огнем, ревя, встал под самым бортом «Менделеева». Корабль стал оседать на корму. Мы увидели среди обломков на воде, по которой расплывались бронзовые круги нефти, голову Штыренко.

Обе шлюпки разом повернули к нему до того, как прозвучала команда. Люди не думали о гибельном водовороте, в который неминуемо втянет шлюпки, если они окажутся близко от гибнущего судна. Штыренко вытащили на шлюпку, где был капитан. Боцман был тяжело ранен. Когда стали стаскивать с него робу, чтобы сделать перевязку, он застонал, прикусив обвисший седой ус, и тихо предупредил:

— Полегче, хлопцы, кровью не замарайте, — и стал тащить из просторного кармана робы мокрую черную шаль.

Часа через три мы добрались до острова Кифера. И там, на берегу, мы похоронили нашего боцмана. Перед самой смертью он взял меня за рукав, тихонько притянул к себе, чтобы я нагнулся, и жесткие усы его укололи мне ухо.

— Шаль ту... Фене передашь... Ребята адрес скажут... Передашь? Цвет правильный, пришелся... по форме... к случаю... Нехай носит по мне...

На могиле боцмана мы сложили памятник из камня, укрепили обломок мачты «Менделеева» и привязали к ней спасательный круг с нашего корабля.

Мне не удалось самому вручить шаль вдове Штыренко. После возвращения на родину меня

сразу вызвали в Москву. Моторист Валахов отвез вдове нашего боцмана шаль вместе с моим письмом.

Года через три я попал в Новороссийск. Дела привели меня в порт. И там, на берегу, когда я уже собирался уезжать, до моего слуха долетели слова, заставившие меня вернуться.

— «Штыренко» еще не приходил? — спросил кто-то у человека в морской форменке, стоявшего у ворот порта.

— «Штыренко» с утра должен был притти,— отвечал тот равнодушно. — Только это вам не железная дорога, гражданин. На море всяко бывает. Через час, полагаю, будет.

«Штыренко» пришел через три часа. Это было маленькое парусно-моторное судно, двухмачтовое, не очень опрятное,— видимо, запущенное. Но когда я увидел на спасательных кругах надпись «Штыренко», я ощутил волнение, которое должен был испытать Маяковский, впервые увидев «Теодора Нетте» уже не человеком, а пароходом.

«Здравствуй, Трофим Егорович,— хотелось крикнуть мне. — Как я рад, что ты живой — дымной жизнью труб, смолистым духом канатов и крюков...»

И когда загудел на кораблике тифон, мне показалось, что это наш боцман своим знакомым гудящим баском стал звать жену: «Фе-э-э-эня!»

— Прибыл таки наконец,— услышал я позади себя женский голос, грудной и сердитый.

Я обернулся. За мной стояла высокая дородная женщина. Упершись в бока крепкими узловатыми руками, она смотрела на подходящий кораблик строгим, неодобряющим взглядом. На могучие

плечи ее была накинута черная кружевная шаль, которую я узнал с первого взгляда. Я хотел заговорить с женщиной, но она промчалась мимо меня, в развевающейся шали. И едва с причалившей к стенке шхуны опустили сходни, возле них снова появилась рослая фигура в черной шали.

— Эй, на «Штыренко»! — зычным раскатистым голосом позвала женщина. — Ты что ясны очи выставил? — прикрикнула она на молодого матроса, вышедшего на ее зов. — Я тебе такое скажу, сразу заморгаешь. Давай сюда капитана вашего, я ему, водошлепу, выскажу, что причитается.

Она стала грозно подниматься по сходням. Доски гнулись под ней. Матрос пытался преградить ей путь, но она пренебрежительно отвела его рукой в сторону.

— Матушки родимые, чистый трактир развели, засвинячили корабль. Это разве судно? Тараканья лоханка это! Эх, Трофима Егорыча на вас нет. Знал бы он, на каком страме его фамилию держат, так раскидал бы всю могилку свою, бедняжка, на Кифере да изобразил бы вам всем своими словами, чтобы вы могли понимать, какие вы есть бичкомеры.

Это было уж слишком. «Бичи» или бичкомеры — это старая презрительная кличка моряков, которые не дорожат своим судном, готовы итти на любой корабль. Всякий уважающий себя советский моряк презирает бичей и почитает эту кличку оскорбительной.

— А ты кто такая? — спросил матрос, воспользовавшись тем, что женщина наконец перевела дух.

— Я вашему судну вдовой прихожусь, вот кто

я! Скажи капитану — Аграфена Васильевна пришла и хочет с ним иметь разговор.

— Косюк, — закричал матрос, — скажи капитану, что Штыренкина явилась!

Через минуту вся немногочисленная команда «Штыренко» вылезла на палубу. Капитан, маленький живой абхазец Джахаев, почтительно пожал руку вдове и представил ей других членов команды: своего помощника Топусова, моториста Семенова, рулевого Косюка и кока Галюшкина.

— Галюшкин,— застенчиво поправил молоденький кок, сделав ударение на первом слоге.

Тут же капитан стал объяснять вдове, что судно только что возило марганцевую руду из Чиатур, а известно, что после нее сразу корабль не отскребешь. А что касается опоздания, то на это были также свои веские причины. Но вдова была неумолима.

— Никогда вы эдак не отмоете, — наступала она на капитана. — Вы только поглядите: разве так приборку делают? Морду себе, небось, перед свиданкой аккуратнее скоблите. А сейчас только грязь по палубе развозите. Что вы, ребята, на самом деле!.. Нет, морячки, у нас с вами большой разговор будет. Уж если такое название дали себе — вот у вас всюду написано: Штыренко, Штыренко, — то уж надо все соблюдать, как полагается. Что, сама не служила, что ли? Двадцать три года ходила, все моря облазила, все ветра нюхала, из-за ревматизма только и ушла. Сироккой мне ревматизм надуло... А такого безобразия сроду не видела. Трофим Егорыч моряк был во всем справный. Мы и уголь возили, когда приходилось, а ни шута подобного безобразия

у нас не было. Товарищ капитан, я этого дела так не оставлю. Или чтобы все было, как следовает, или я в управлении, кому надо, слово скажу, чтобы у вас имя сняли. Я своего Трофима Егорыча пакостить не дам. Вот весь мой сказ.

Через год я был в управлении Черноморского торгового флота. Мне захотелось узнать, как идут дела на «Штыренко».

— Ну что же,— сказали мне,— судно, конечно, не очень видное, план у него не ахти какой большой, но справляется молодцом. У них там история была забавная. Этого самого Штыренко вдова прямо истерзала их. А ребята там хорошие. Молодежь все. Только сперва обижались, что их на такую маленькую посудинку определили. А эта вдова не давала им прямо ни сна, ни отдыха. Ну, и добилась своего. Теперь у них там и портрет Штыренко в кубрике висит — вдова подарила. Вообще, все честь-честью.

Может быть, вам попадалась на глаза маленькая заметка в «Правде», — она называлась «Последний рейс «Штыренко». Если вам интересно, я расскажу, как было дело, так как участвовал в этом рейсе.

Весной этого года я снова попал на «Штыренко». Я встретил его у стенки мола. На нем только что кончилась приборка. Все сверкало на кораблике. И отмытый до блеска, оттертый скребками, только что окаченный из брандспойтов, словно помолодевший, он предстал передо мной, мигом подобрав паруса, как человек, с которого парикмахер только что сдернул простыню.

Дородная женщина тряпочкой, очень по-домашнему, обтирала на корме ствол зенитного пулемета.

— Знакомьтесь, — сказал мне капитан Джахаев, — Аграфена Васильевна Штыренко, тетя Феня, так сказать, вдова нашего корабля.

— Мы как будто знакомы, — сказал я.

— С первых дней войны у нас работает, — продолжал капитан. — Явилась прямо с вещами и говорит: «Теперь не время мне на берегу отсиживаться. Вот вам моя мореходка, документы все при мне. Давайте, какая есть у вас работа. Пригожусь еще».

— А что, неправда, скажешь? — откликнулась вдова.

Аграфена Васильевна, тетя Феня, была у нас чем-то вроде уборщицы, помогала она также и коку. Судно было небольшое, двести тонн, экипаж маленький. Дело находилось. И хотя характер у тети Аграфены Васильевны не исправился, к ней все очень привязались.

Недавно мы получили задание — отвезти боеприпасы на одну батарею. Берег там был занят немцами. Но как раз против входа в бухту расположился искусственный островок. На нем есть крепость. Через весь остров пробит тоннель. В нем имеются входы в казематы, электростанция, пекарня — все это скрыто под землей. А сверху посажены маслины, акации, устроен палисадник, и в зелени незаметно укрылась батарея. Остров этот лежит дугой перед входом в бухту, словно подкова прибита на счастье. Только эта подкова была тут немцам на горе.

Батарея наша била с островка, беспокоила немцев. Но там как раз подошли к концу снаряды. Все запасы были израсходованы. Командование вызвало капитана Джахаева и дало ему задание: доставить на остров снаряды.

Вечером Джахаев собрал наш маленький экипаж и передал приказ:

— Дело трудное, но почетное,— сказал капитан.— доверие, одним словом, оказано. Вопрос ясен.

Мы решили в этот рейс вдову нашу не брать. Дело опасное, крайне рискованное. Капитан нарочно отпустил Аграфену Васильевну до утра в город. А ночью мы тихонько снялись, подошли к известному месту, приняли груз и взяли курс на остров. Шли мы в полной тьме, не зажигая огней. Вдруг у входа в каюту я наткнулся на кого-то. Черная фигура показалась мне незнакомой.

— Это кто тут? — спросил я.

— Кто? — услышал я в ответ. — Уж и признавать не хотите! Это вы что же, барбосы, бегать от меня вздумали? И есть у вас после этого совесть, или вы ее на берегу оставили?

Передо мной в своей черной шали стояла тетя Феня. На шум спустился капитан.

— Ну, что, понимаете, за баба такая! — пробормотал он.

Стали выяснять, каким образом тетя Феня разузнала, что мы уходим, и как она попала на корабль. Оказывается, часовой просто пропустил тетю Феню, так как документы были при ней. А ребята, видно, в темноте проморгали. Она укуталась в свою черную шаль и прошла незаметно в каюту. Капитан даже рассердился, плюнул и накричал на Аграфену Васильевну. Но тетя Феня была не из таких, чтобы позволить кому-нибудь кричать на себя.

— Ты на меня не гавкай, капитан, — промолвила она и перекинула конец шали через плечо. — Я и в мирное время никому не дозволяла,

чтобы на меня голосом закидывались, а в военное время совсем не допущу.

Мы пробовали объяснить ей, что рейс у нас особенный и что мы не хотели подвергать ее опасности.

— Значит, соленые огурцы возить,—тетя Феня, пожалуйста. А как настоящее дело, так тетю Феню за борт. Очень премного вам благодарна. — Неожиданно она всхлипнула. — А что у тети Фени покойный муж от чортовой фашистской торпеды погиб, это забыли? Забыли про моего Трофима Егорыча? Вы еще по берегу на карачках ползали, а я уже все моря обошла. У меня свой счет для фашистов припасен. У меня с ними война с того дня идет, как Трофима Егорыча они убили... Говорите лучше, чего мне делать сейчас, за что приниматься.

Капитан только рукой махнул.

Нам нужно было проскочить мимо берега ночью. Днем бы нас немцы разделали из своих орудий. Известно было, что фарватер там, между островом и берегом, весь минирован и есть мели. Мы пробирались тихонько, идя самым малым ходом. Потом капитан велел совсем выключить дизель. Судно у нас было моторно-парусным. Подул подходящий ветерок, мы подняли гафель и осторожно двигались по фарватеру. В три часа ночи стали около островка. Немец начал пускать ракеты. Нас как будто сперва не заметили. Мы нагрузили первую шлюпку порохом, и вот тут началось... Большая ракета осветила нас, и мы почувствовали себя голенькими, будто вместе с тьмой вокруг содрали с нас одежду. Немцы стали бить в нашу сторону залпами. Они стреляли и по крепости, и по «Штыренко». Командир кре-

пости приказал нам укрыться на островке. Но наша вдова опять заупрямилась.

— Не хочу своим весом порох вытеснять.

Сперва мы не поняли даже, о чем идет речь. Тогда она очень деловито объяснила, что весит, мол, больше девяноста кило и лучше вместо нее на шлюпку еще несколько банок пороху забрать.

Снарядом у нас срубило кормовую мачту. Через минуту продырявило верхнюю палубу, разбило каюту. Тетя Феня бегала с огнетушителем, затаптывала огонь, покрикивала на нас:

— Давайте, паренечки, орудуйте! Шуруйте, хлопцы! Не дадим Трофима Егорыча в обиду! Чтоб им кишки на брашпиль навернуло, курослепам, проклятым фашистам! Давайте, морячки, веселей!

Завыл воздух, и снарядом пробило насквозь машинное отделение. Внутрь хлынула вода.

— Болт! — сказал капитан. — Подзаныр пойдем.

Наша корма стала уходить в воду. Уже заливало палубу. Но, на наше счастье, место там неглубокое. Мы врезались кормой в грунт. Трюм у нас был под водой, но дальше мы не погружались. Немцы прекратили огонь — решили, видимо, что потопили нас. Мы стояли по грудь в воде, держась за поручни на затопленной палубе, и решали, что делать дальше. Комендант крепости, когда мы прибыли, сказал: «Нам лучше хлеба не давайте, а снаряды спасите...» Кораблик наш и так валился набок, а если еще из трюма снаряды вытащить, совсем на перекувырк пойдет. И тут золотая наша вдовушка присоветовала нам:

— Вы, хлопцы, привяжите судно концами за

деревья, что на острове, оно и не перевернется, ветер-то навальный...

Это был превосходный совет. по берег отстоял от нас метров на пятьдесят. Моторист Семенов и рулевой Косюк поплыли в темноту, подтянули концы, обмотали ими деревья, закрепили кораблик за переднюю мачту и за корму. Подул небольшой ветерок. Пошла зыбь. Нас покачивало, и, скрипя во тьме, покачивались с нами в лад деревья на островке. Семенов и Косюк вернулись на судно, отдышались и стали по очереди нырять в трюм. Но снаряды мы привезли тяжелые — каждый пудов по восемь. Мы тогда что сделали? Мы взяли пеньковые концы, приделали к ним крючки, Косюк и Семенов ныряли в трюм, нащупывали снаряд, охватывали его петлей, а мы на палубе вытаскивали наверх, потом тащили снаряды на шлюпки и отправляли на берег. Так мы работали всю ночь.

Уже начало светать, когда мы грузили последнюю шлюпку. Капитан опять стал уговаривать Аграфену Васильевну немедленно сойти с судна. Тетя Феня закоченела в воде. Она уже еле губами шевелила, но мы расслышали:

— Бросьте вы, ребята, этот разговор. Не о том забота... И так шлюпка с перегрузом идет, а я свои телеса прибавлю — куда же тут?..

Когда последняя шлюпка была разгружена, капитан сам отправился за ней, за вдовушкой. и коком, которые остались на «Штыренко». Но было уже так светло, что немцы заметили шлюпку и открыли по ней огонь из миномета. Осколком мины капитана ударило в руку. Еще одна мина взорвалась у самой шлюпки, разнесла ее, и, когда опала вскинутая вверх вода, Джа-

хаев и Галюшкин увидели на поверхности черную шаль, медленно уходившую в воду. Загребая одной рукой, кинулся туда капитан. Галюшкин нырнул и не дал Аграфене Васильевне уйти на дно. Кое-как они добрались до островка, с двух сторон придерживая тетю Феню. Она была ранена осколками мины в грудь и в голову.

В каземате ей сделали перевязку. Она открыла глаза.

— Все взяли?

— Все.

— Ничего не осталось?

— Ничего, тетя Феня.

— И я все свое взяла,— проговорила она.— Сходила-таки в последний рейс с Трофимом Егорычем. — Она помолчала немножко и, обведя нас медленным взором, словно стараясь запомнить каждого, тихо сказала: — Отбываю, парепечки... счастливо вам... штыренковцы...

Первый раз она назвала нас так. Потом попросила поднять ее к амбразуре, чтобы проститься с морем.

Рассвело. Начался прилив. Все выше и выше поднималась вода. Вот уже на нашем кораблике залило крышу каюты, потом только мачта осталась над поверхностью. И сказала нам тетя Феня:

— Вот как она в воду уйдет, так и я с ней...

И стала собирать на себя мокрую черную шаль, из рук не выпускала ее. Натянула шаль по грудь, по плечи, потом, словно хотела покрыться ею, подняла руку к голове... И упала рука.

Невольно мы все обернулись к морю. Только прибой там шумел, волны катились по проливчику, и ничего не осталось от нашего «Штыренко».

Мы похоронили тетю Феню тут же на островке, в крепости, между камнями, в углу палисадничка под акациями. Проволокой укрепили круг с нашего корабля и на круге приписали — Аграфена Васильевна. Получилось: «Аграфена Васильевна Штыренко», и повили круг сбоку черной шалью.

Молча стоял наш экипаж у могилы. Ребята даже переодеться не успели. Утренний холодный ветер пробирал нас, но мы стояли не шевелясь. Комендант выстроил рядом с нами весь свой маленький гарнизон. Капитан Джахаев сказал короткую речь:

— Прощай, хороший человек, Аграфена Васильевна, подруга моряка, хозяйка корабля нашего. Спасибо тебе. Матерью ты нам была, тетя Феня.

Уже совсем рассвело. Немцы на берегу зашевелились. И комендант надел фуражку.

— Товарищи моряки, попрошу уйти в казематы. Мы почтим вдову нашего корабля таким артиллерийским салютом, какого ни одному адмиралу не давали.

И дрогнул, заходил ходуном островок. Над могилой тети Фени заревели доставлённые нами снаряды. Дымом и едучей пылью закрылся весь тот берег, запылали немецкие казармы. Немцы начали отвечать нам, но скоро их батареи умолкли, подавленные мстительным огнем с островка. А батарея наша все била и била. Яростный, гремучий воздух, казалось, пригибал акации в палисадничке. И при каждом залпе слегка вздымалась шаль на белом пробковом круге.

Батарейный заяц

(Из фронтовых записей)

Далеко на севере, на самом краю нашей земли у холодного Баренцова моря стоит батарея знаменитого командира Поночевного. Тяжелые пушки укрылись в скалах на берегу, и ни один немецкий корабль не может пройти мимо нашей морской заставы. Стоит только вражескому кораблю сунуть нос к этим берегам, как начинают бить могучие орудия Поночевного.

Если взять все пушки Поночевного и взвесить их, а потом подсчитать, сколько бомб и снарядов обрушили немцы с начала войны на этот клочок земли, то выйдет, что вся батарея весит в пять раз меньше, чем страшный груз, сброшенный на нее врагом...

Но люди выжили, вытерпели, устояли.

Недавно я был на батарее Поночевного. Весь берег там разворочен бомбами. Чтоб пробраться к скалам, где стоят пушки, надо перелезать через большие ямы — воронки от разрывов.

Некоторые из этих ям так просторны и глубоки, что в каждой из них уместился бы цирк с ареной и местами для зрителей. А по краям этих громадных воронок виднелось еще по четыре-пять углублений меньшего размера.

С моря дул холодный ветер. Он разогнал туман, и я рассмотрел на дне огромных воронок маленькие круглые озера. У воды сидели на корточках батарейцы Поночевного и мирно стирали свои полосатые фуфайки. Все они недавно были моряками и нежно берегли матросские тельняшки, которые им остались на память о флотской службе.

Меня познакомили с Поночевным. Он мне сразу понравился. Веселый, немножко курносый, с хитрыми глазами, смотревшими из-под козырька морской фуражки. Едва мы разговорились со знаменитым командиром, как сигнальщик на скале закричал:

— Воздух!

— Есть! Завтрак подан, — проговорил Поночевный, оглядывая небо. — Сегодня завтрак будет горячий. Укрывайтесь!

Небо загудело над нами. Двадцать четыре «Юнкерса» и несколько маленьких «Мессершмиттов» летели прямо на батарею. За скалами громко, торопясь, застучали наши зенитки. Потом тонко заверещал воздух. Мы не успели добраться до укрытия, земля охнула, камни завизжали над нашими головами. Твердый воздух ушиб меня и повалил на землю. Я заполз под нависшую скалу около берега и прижался к камню, в своем ненадежном убежище. Рядом со мной никого не было. Я слышал, как пронзительно выли над нами моторы. Это немцы пикировали, чтоб с полного разгона пониже и вернее сбросить свои бомбы на нас. Я чувствовал, как ходит подо мной каменный берег.

Грубый ветер взрывов толкался мне в уши и волок из-под скалы. Цепляясь за землю, я, что

есть силы, зажмурил глаза, но под веки мне проникал горячий и частый блеск огня.

От одного сильного и близкого взрыва глаза у меня сами раскрылись, как раскрываются окна в доме при землетрясении. Я уж было собрался опять зажмуриться, как вдруг увидел, что справа от меня, совсем близко, в тени под большим камнем, шевелится что-то белое, маленькое, продолговатое, вроде куриного яйца. И при каждом ударе бомбы это маленькое, белое, продолговатое смешно дергалось и снова замирало. Меня так разобрало любопытство, что я уже не думал об опасности, не слышал взрывов. Мне только хотелось узнать, что за странная штука шевелится там, под камнем. Я подобрался ближе, заглянул под камень и рассмотрел белый заячий хвостик. Я подивился: откуда он здесь? Мне известно было, что зайцы тут не водятся.

Грохнул близкий разрыв, хвостишко судорожно задергался, и я поглубже втиснулся в расщелину скалы. Я очень сочувствовал хвостику. Самого зайца мне не было видно. Но я догадывался, что бедняге тоже не по себе, как и мне.

Потом наступила тишина, которой не сразу поверили мои наболевшие уши. Раздался сигнал отбоя. И тотчас я увидел, как из-под камня медленно, задом, выбирается крупный заяц-русак. Он вылез, поставил торчком одно ухо, затем поднял другое, прислушался. Потом заяц вдруг сухо, дробно, коротко пробил лапами по земле, словно сыграл отбой на барабане, и запрыгал к батарее, сердито прядая ушами. Белый, высоко прижатый хвостик мелькал на темносером мшистом склоне берега.

Батарейцы собрались около командира. Сообщали результаты зенитного огня. Оказывается, пока я там изучал зайкин хвост, зенитчики сбили два немецких бомбардировщика. Оба упали в море. А еще два самолета задымили и сразу повернули домой. У нас на батарее бомбами повредило одно орудие и осколком легко ранило двух бойцов. Артиллеристы обещали Поночевному исправить орудия к вечеру. Раненые заявили, что в госпиталь они итти не согласны, к завтрему сами поправятся.

И тут я опять увидел косого. Заяц, часто подергивая кончиком своего горбатого носа, обнюхал камни, потом заглянул в капонир, где укрывалось тяжелое орудие, присел столбиком, сложив на животике передние лапы, осмотрелся и, словно заметив нас, прямехонько направился к Поночевному.

Командир сидел на камне. Заяц подскочил к нему, забрался на колени, оперся передними лапками на грудь Поночевного, дотянулся и стал усатой мордочкой тереться о подбородок командира. А командир обеими руками гладил его уши, прижатые к спинке, пропускал их через ладони...

Никогда в жизни не видел я, чтоб заяц держался так вольно с человеком. Случалось встречать мне совсем ручных заек, но стоило коснуться ладонью их спины, и они замирали от ужаса, припадая к земле. А этот держался с командиром запанибрата.

— Ах ты, Зай-Заич,— говорил Поночевный, внимательно осматривая шкуру своего приятеля. — Ах ты, нахальная зверюга... Цел, косоплет, не покорябало тебя? Не знакомы с нашим Зай-

Заичем? — спросил он меня. — Это мне подарочек разведчики с Большой земли привезли. Паршивенький был, малокровный такой с виду, а у нас отъелся, подобрел. И привык ко мне зайчатина, прямо ходу не дает. Так и бегает за мной. Куда я, туда и он. Обстановка у нас, конечно, для заячьей натуры не очень подходящая. Сами могли убедиться, шумно живем. Ну, ничего, наш Зай-Заич теперь уже малый обстрелянный. Даже ранение имел, сквозное. — Џоночевный взял осторожно левое ухо зайца, расправил его, и я увидел зарубцевавшуюся дырочку в лоснящейся плюшевой, розоватой изнутри, кожице. — Осколочком прошибло. Ничего. Теперь зато в совершенстве изучил правила ПВО. Чуть налетят — он уже мигом где-нибудь укроется. А один раз было так... Без Зай-Заича была бы нам полная труба. Честное слово! Долбили нас часов тридцать кряду. День полярный, солнце на вахте круглые сутки бессменно торчит, ну, вот немцы и пользовались. Как это в опере поется? «Ни сна, ни отдыха измученной душе...» Так вот, стало быть, отбомбили они наконец, ушли. Небо в тучках, но видимость приличная. Огляделись мы — ничего как будто не предвидится. Решили отдохнуть. Сигнальщики наши тоже притомились, ну и проморгали. Только смотрим, Зай-Заич тревожится чего-то. Уши наставил и передними лапами чечетку бьет. Что такое? Нигде ничего не видно. Но знаете, какой у зайца слух! Что же вы думаете, не ошибся зайчина. Все звукоуловители опередил. Сигнальщики наши только через три минуты обнаружили самолеты противника. Но я уже успел на всякий случай команду дать заранее. Приготовились, в общем, к сроку. С того дня уже знаем:

если Зай-Заич ухо наставил, чечетку бьет, — следи за небом.

Я поглядел на Зай-Заича. Задрав хвостишко, он резво прыгал на коленях у Поночевного, искоса и с достоинством, как-то совсем не по-заячьи, озирал стоявших вокруг нас артиллеристов. И я подумал: «Какие же смельчаки, наверное, эти люди, если даже заяц, немного пожив с ними, сам перестал быть трусом!..»

Семимильные шаги

Именно так и выражался о своей быстроногой специальности Павел Арефьев, бывший инфизкультовец, универсальный лыжник и мастер спорта: «Семимильные шаги, товарищи!.. Так я скажу. При верном посыле корпуса и правильном выносе ноги, да если еще работа рук хорошо с этим согласована, каждый шаг большую дальность приобретает...»

А видели ли вы когда-нибудь лыжню самого Арефьева,— след, проложенный им по пороше? Это была каллиграфия на линованном снегу!

Опытный глаз сразу определил бы по такой лыжне, что это след мастера.

Происшествие, которое случилось с Арефьевым на-днях, могло окончиться плачевно для нашего мастера. Никто из товарищей Арефьева по его подразделению не простил бы Павлу такой промашки.

Сперва все сложилось превосходно. Арефьев со своим летучим быстроногим отрядом перехватил в лесу лыжный патруль немцев. После короткой перепалки захваченные врасплох фашистские разведчики были перебиты все, за исключением одного. Этот сдался в самом начале схватки, бросив оружие и воткнувши в снег лыжные палки.

Надо было доставить его в штаб как «языка». Арефьев пригляделся к пленнику. Под маскировочным белым халатом, который обычно скрадывает особенности фигуры, все же можно было разглядеть, что захваченный лыжник высок, худощав, длиннорук и несколько сутуловат.

Вокруг простирались снега. Гигантские сугробы, как белые дюны, легонько дымясь под ветром, переваливали через овражки, надвигались на лес. Пройти до штаба без лыж было почти невозможно. Поэтому решили оставить пленника на лыжах.

Командный пункт был устроен в землянке, погребенной под пластами снега на крутом холме. На пункте с нетерпением ждали результатов рейда Арефьева и его товарищей. Нужно было получить срочные сведения у «языка». Зная это, Арефьев торопился и все подгонял пленника, который понуро брел на лыжах, волоча ноги, спотыкаясь, наезжая одной лыжей на другую и шлепая ими по насту. «Заплетается наш «язык»,— пошутил Арефьев. Сдерживая нетерпение, едва поровнявшись со входом в землянку командного пункта, он опередил пленника и, возбужденный удачей, сбросил лыжи с ног и спустился в сугроб. Но не успел он доложить командиру о захваченном «языке», как снаружи раздались крики и выстрелы. Арефьев выскочил наверх... Неуклюжий, длинноногий, только что заплетавший нога за ногу пленник проявил неожиданную прыть и легко мчался по крутому склону холма.

— Не стрелять! — крикнул Арефьев, расталкивая бойцов, целившихся в убегавшего лыжни-

ка. — Он нам живой нужен. Далеко не уйдет, там обрыв...

Склон холма ниже командного пункта резко обрывался. Над обнаженным от снега глинистым срезом нависли сугробистые наносы. Сильно отталкиваясь палками, пленник мчался прямо на обрыв.

— Да что он?.. Сослепу, что ли!.. — начал было Арефьев, но не закончил, прыгнул на лыжи, быстро закрепил их и своим широким семимильным шагом помчался вслед за убегавшим. А тот, не оглядываясь, со всего разгону вылетел на снежный карниз, на секунду присел, выпрямился, взлетел на воздух, как с трамплина... Через минуту над карнизом мягко вознеслась собранная в комок и гибко расправившаяся фигура Арефьева.

Арефьев не был горно-лыжником и тем более прыгуном с трамплина, но во время тренировок он изредка любил быстро промчаться по эстакаде и пролететь метров тридцать — сорок по воздуху. И он был уверен, что пролетит по воздуху дальше, чем пленник. Он был неприятно удивлен, когда увидел, что длинноногий фашист успел соприкоснуться с пологим скатом холма далеко впереди... Тот мчался широкими, длинными рывками, выпуся вперед свое тело, сильно отталкиваясь руками.

Капюшон маскировочного халата слетел с головы фашиста. И, глядя на этот затылок, на покатые плечи, на мерно двигающиеся лопатки пленника, Арефьев вдруг понял, кто уходит от него. Он все узнал, все припомнил. Узнал он и особую манеру выворачивать локти при относе палки назад, характерную повадку чемпиона

Эйно Сальми. Он уже видел однажды эту спину, вывернутые локти, белобрысые волосы над красной шеей, покатые качающиеся плечи. Это было в Або несколько лет назад, когда, не послушав дружеских советов, он принял вызов буржуазного чемпиона. Он тогда вышел победителем на рабочей спартакиаде, о нем уже писали в газетах, как о выдающемся спортсмене, и чемпион, должно быть, хотел проучить выскочку из Советской России. Они шли на стайерской дистанции. И в лесу Арефьев стал нагонять ушедшего было вперед чемпиона. Он нагнал, он обошел знаменитого Эйно Сальми, недосягаемого Эйно, кумира финских лыжников, несравненного, непобедимого Сальми. Но в тот момент, когда Арефьев уже обошел противника, уже чувствовал усталое дыхание чемпиона у себя за спиной, что-то очень острое невыносимо больно ударило его в правую щиколотку. И он сбился с шагу. Арефьев так никогда и не узнал точно, что это было. Он успел заметить уголком глаза какое-то странное движение, которое сделал за его спиной Эйно Сальми, но прямодушному, рыцарски строгому в делах спортивной чести физкультурнику казалось невероятным, чтобы знаменитый чемпион позволил себе ударить сзади острием лыжной палки соперника в лодыжку. Арефьев слышал о такого рода выходках заграничных спортсменов: приезжавший в Москву французский бегун Лядумег рассказывал, как на одном соревновании немецкий спортсмен доктор Пельцер пытался шипами беговых туфель распороть икру французскому чемпиону. Он вспомнил предупреждение друзей. Но было уже поздно — Эйно Сальми выходил к финишу, а

судьи, не заметившие или не захотевшие увидеть то, что произошло на дистанции, готовы были щелкнуть секундомерами.

...Никогда, ни на одном состязании не шел Арефьев так, как сейчас. Лыжи легко позванивали; по хрупкому насту за несущимся вперед Арефьевым мчались легкие вихорьки снега. Но Эйно Сальми шел, так же выкладывая все свои силы, и казалось, что догнать его невозможно. Арефьев знал, что они приближаются к линии обороны немцев, что придется, может быть, стрелять, чтобы не дать финну уйти в расположение противника. Но прежняя обида и великая спортивная злость требовали от него, чтобы он обошел чемпиона и взял его без выстрела. Он шел по лыжне убегавшего, но чуточку отклонился влево, чтобы солнце слепило Эйно Сальми, когда тот оглядывался на преследователя. И вот, синяя тень, скользившая по сверкавшему снегу, стала подбираться к мелькающим лыжам. Вот уже Арефьев увидел, что тень от его головы вползла на спину чемпиону. Потом тень соскользнула с плеча: Павел Арефьев поровнялся с Эйно Сальми.

— Ну, хватит, стоп! Побегали,— сказал, отдуваясь, Арефьев, с силой перехватил палки беглеца, вырвал их и навел на пленника револьвер.

Тот тяжело дышал. Несколько мгновений оба молчали. Чемпион заговорил первым.

— Слушайте, русский,— проговорил он,— в вас, русский, пропадает великий спортсмен.

— Ну, зачем ему пропадать? — ответил Арефьев. — Никуда он не денется.

— Знаете ли вы, кого вы догнали? Я один из чемпионов Европы по лыжам.

— Знаю, знаю,— сказал Арефьев. — Я вас помню, господин Эйно Сальми. И лицо, и имя, и спину вашу навек запомнил. И заметочка от вас на щиколотке до сих пор цела.

— О, Арефьев,— осклабился чемпион. — Я вас тоже тогда запомнил. У вас есть задатки. Но вам следует отработать переход на скользящую ногу, у вас есть неточности в стиле.

— Ну, ладно, ладно,— сердито сказал Арефьев. — Мы с вами не в раздевалке после состязания, и я вас не вызывал на него. Сами сюда к нам пришли воевать, и с вами разговор будет теперь другой. Ну, живо! Итти вперед, не оборачиваться. Эй-эй, ножик сюда давайте. Нечего его щупать.

— Вы знаете,— заискивающе говорил на ходу Эйно Сальми, поеживаясь и осторожно скашивая глаза назад через плечо Арефьева. — Нас прислали учить немцев. Немцы неважные лыжники и малоспособные... Вот русские оказались...

Они проходили мимо лесной сторожки, полузанесенной снегом. Рядом чернели бревна недавно сгоревшей избы. Бледная худенькая девочка лет восьми выбежала на снежную тропу и, увидев пленника, закричала:

— Мама, мама, иди сюда скорей! Смотри, попался!

И она радостно захлопала в ладоши.

Арефьев не раз выходил победителем на больших состязаниях. Тысячные толпы аплодировали ему. Но никогда еще ему не был так приятен, так нужен звук хлопающих ладоней, которые приветствовали его победу.

Зеленая веточка

На Западном фронте мне пришлось некоторое время жить в землянке техника-интенданта Тарасникова. Он работал в оперативной части штаба гвардейской бригады. Тут же в землянке помещалась его канцелярия. Трехлинейная лампешка освещала низкий сруб. Пахло свежим тесом, земляной сыростью и сургучом. Сам Тарасников, невысокий, болезненного вида молодой человек со смешными рыжими усиками и желтым обкуренным ртом, встретил меня вежливо, но не слишком приветливо.

— Устроитесь вот тут,— сказал он мне, указывая на топчан и тотчас снова склоняясь над своими бумагами,— сейчас вам подстелят палатку. Надеюсь, моя контора вас не стеснит? Ну и вы, рассчитываю, тоже особенно мешать нам не будете. Присаживайтесь пока.

Так я стал жить в подземной канцелярии Тарасникова. Это был очень беспокойный, необычайно дотошный и придирчивый работяга. Целые дни он надписывал и заклеивал пакеты, припечатывал их сургучом, согретым над лампой, рассылал какие-то донесения, принимал бумаги, пере-

черчивал карты, стучал одним пальцем на заржавленной машинке, тщательно выбивая каждую букву. По вечерам его мучили приступы лихорадки, он глотал акрихин, но уйти в госпиталь категорически отказывался.

— Что вы, что вы! Куда же я уйду? Да тут все дело без меня станет! Все на мне и держится. На день мне уйти — так потом год не распутаешься тут...

Поздно ночью, вернувшись с переднего края обороны, засыпая на своем топчане, я все еще видел за столом усталое и бледное лицо Тарасникова, освещенное огнем лампы, деликатно, ради меня, приспущенным, и окутанное табачным туманом. От глиняной печурки, сложенной в углу, шел горячий чад. Усталые глаза Тарасникова слезились, но он продолжал надписывать и заклеивать пакеты. Потом он вызывал связного, который дожидался за плащ-палаткой, повешенной у входа в нашу землянку, и я слышал следующий разговор:

— Кто из пятого батальона? — спрашивал Тарасников.

— Я из пятого батальона,— отвечал связной.

— Примите пакет. Вот. Возьмите его в руки. Так. Видите, написано здесь — «Срочно». Следовательно, доставить немедленно. Вручить лично командиру. Понятно? Не будет командира, передадите комиссару. Комиссара не будет,—разыщите. Больше никому не передавать. Ясно? Повторите.

— Доставить пакет срочно,— как на уроке, однотонно повторял связной. — Лично командиру, если не будет, комиссару, если не будет — отыскать.

— Правильно. В чем понесете пакет?

— Да уж обыкновенно... Вот тут в кармане.

— Покажите ваш карман,— и Тарасников подходил к высокому связному, становился на цыпочки, просовывал руку под плащ-палатку, за пазуху шинели, и проверял, нет ли прорех в кармане.

— Так, в порядке. Теперь учтите. Пакет секретный. Следовательно, если попадете противнику, что будете делать?

— Да что вы, товарищ техник-интендант, зачем же я буду попадаться!

— Попадаться незачем, совершенно верно, но я вас спрашиваю: что будете делать, если попадетесь?

— Да я сроду никогда не попадусь...

— А я вас спрашиваю: если? Так вот, слушайте. Если что, опасность какая, так содержимое съешьте, не читая. Конверт разорвать и бросить. Ясно? Повторите.

— В случае — опасность, конверт разорвать и бросить, а что посередке — съесть.

— Правильно. Через сколько времени вручите пакет?

— Да тут минут сорок и итти-то всего.

— Точнее, прошу.

— Да так, товарищ техник-интендант, я считаю, не больше пятидесяти минут пройду.

— Точнее.

— Да через час-то уж наверняка доставлю.

— Так. Заметьте время,— Тарасников щелкал огромными кондукторскими часами,— сейчас двадцать три пятьдесят. Значит, обязаны вручить не

позднее ноль пятьдесят минут. Ясно? Можете итти.

И этот диалог повторялся с каждым посыльным, с каждым связным. Когда все пакеты были отосланы, Тарасников укладывался. Но и во сне он продолжал учить связных, обижался на кого-то, и часто ночью меня будил его громкий, суховатый, отрывистый голос:

— Как стоите? Вы куда пришли? Это вам не парикмахерская, а канцелярия штаба,— четко говорил он со сна. — Почему вошли, не доложившись? Выйдите и войдите еще раз. Пора научиться порядку. Так. Погодите. Видите, человек ест? Можете обождать, у вас не срочный пакет. Дайте человеку поесть... Распишитесь.... Время отправления... Можете итти. Вы свободны.

Я тормошил его, пытаясь разбудить. Он вскакивал, смотрел на меня малоосмысленным взглядом и, снова повалившись на койку, прикрывшись шинелью, мгновенно погружался в свои штабные сны. И опять принимался быстро говорить.

Все это было довольно скучно и неприятно. И я уже подумывал, как бы мне перебраться в другую землянку. Но однажды вечером, когда я вернулся в нашу халупку, основательно промокнув на дожде, и сел на корточки перед печкой, чтобы растопить ее, Тарасников встал из-за стола и подошел ко мне.

— Тут, значит, получается так,— сказал он несколько виновато. — Я, видите ли, решил временно не топить печку. Давайте деньков пять воздержимся. А то, знаете, печка угар дает, и это, видимо, отражается на ее росте... Плохо на нее воздействует.

Я, ничего не понимая, смотрел на Тарасникова.

— На чьем росте? На росте печки?

— При чем же тут печка? — обиделся Тарасников. — Я, по-моему, выражаюсь достаточно ясно. Этот самый чад, он, видно, плохо действует... Она совсем расти перестала.

— Да кто расти перестал?

— А вы что же, до сих пор не обратили внимания? — уставившись на меня и почти с негодованием закричал Тарасников. — А это что? Не видите? — и он с внезапной нежностью поглядел на низкий бревенчатый потолок нашей землянки.

Я привстал, поднял лампу и увидел, что толстый кругляш вяза в потолке пустил зеленый росток. Бледненький и нежный, с зябкими листочками, он протянулся под потолок. В двух местах его поддерживали белые тесемочки, приколотые кнопками к потолочине.

— Понимаете,— заговорил Тарасников. — Все время росла. Такая славная веточка вымахнула. А вот тут стали мы с вами топить часто, а ей, видно, не нравится. Я вот тут зарубочки делал на бревне, и даты у меня проставлены. Вот видите, как сперва быстро росла. Иной день по два сантиметра вытягивала. Даю вам честное, благородное слово! А как стали мы с вами чадить тут, вот уже три дня не наблюдаю роста. Так ей и захиреть недолго. Давайте уж воздержимся. И курить бы надо поменьше. Стебелечек-то нежненький, на него все влияет. А меня, знаете, интересует: доберется он до выхода? А? Ведь так, чертенок, и тянется поближе к воздуху, где солнце, чует из-под земли.

И мы легли спать в нетопленной, сырой землянке. На другой день я, чтобы снискать расположение Тарасникова, сам уже заговорил с ним по поводу его веточки.

— Ну, как,—спросил я, сбрасывая с себя мокрую плащ-палатку,— растет?

Тарасников выскочил из-за стола, посмотрел мне внимательно в глаза, желая проверить, не смеюсь ли я над ним, но увидев, что я говорю серьезно, с тихим восторгом поднял лампу, отвел ее чуточку в сторону, чтобы не закоптить свою веточку, и почти шопотом сообщил мне:

— Представьте себе, почти на полтора сантиметра вытянулась. Я же говорил, топить не надо. Просто удивительное это явление природы.

Ночью немцы обрушили на наше расположение массированный артиллерийский огонь. Я проснулся от грохота близких разрывов, выплевывая землю, которая от сотрясения обильно сыпалась на нас сквозь бревенчатый потолок. Тарасников тоже проснулся и зажег лампочку. Все ухало, дрожало и тряслось вокруг нас. Тарасников поставил лампочку на середину стола, откинулся на койке, заложив руки за голову.

— Я так думаю, что большой опасности нет. Не повредит ее? Конечно, сотрясение, но тут над нами три наката. Разве уж только прямое попадание. А так я ее, видите, как подвязал? Словно предчувствовал...

Я с интересом поглядел на него.

Он лежал, запрокинув голову на подложенные за затылок руки, и с нежной заботой смотрел на зеленый слабенький росточек, вившийся под потолком. Он просто забыл, видимо, о том, что сна-

ряд может обрушиться на нас самих, разорваться в землянке, похоронить нас под землей заживо. Нет, он думал только о бледной зеленой веточке, протянувшейся под потолком нашей халупы. Только за нее беспокоился он.

И часто теперь, когда я встречаю на фронте и в тылу взыскательных, очень занятых, суховатых на первый взгляд, малоприветливых как будто людей, я вспоминаю техника-интенданта Тарасникова и его зеленую веточку. Пусть грохочет огонь над головой, пусть промозглая сырость земли проникает в самые кости, все равно,— лишь бы уцелел, лишь бы дотянулся до солнца, до желанного выхода робкий, застенчивый зеленый росток.

И кажется мне, что есть у каждого из нас своя заветная зеленая веточка. Ради нее готовы мы перенести все мытарства и невзгоды военной поры, потому что твердо знаем: там, за выходом, завешенным сегодня отсыревшей плащ-палаткой, солнце непременно встретит, согреет и даст новые силы дотянувшейся, нами выращенной и сбереженной, ветке нашей.

Цик-цак

Они ушли. И я очень тороплюсь. Они сказали — несколько часов. А сколько ушло времени — не знаю. Я не сразу опомнилась. Пропало зря много минут из тех, что оставили мне на жизнь, и только тогда по-настоящему, до донышка, увидела я: нам отсюда уже не выбраться.

...Не подходите, не подходите к этому дому, товарищи! Скорее прочь и подальше! Здесь мина!

Сейчас я все объясню, если успею. Они ушли, а нас оставили — меня и Татьянку. Они ушли, ничего не добившись. Как они добивались, не стоит вспоминать... Я ничего не сказала. Сообщите Никону Матвеевичу и товарищу Тарасову, Соне Ивановой передайте — я ничего не сказала.

Прошло два дня с того часа, когда я попалась им. Я не могла больше сидеть в подвале. Танюшка сгорала у меня на руках — скарлатина. Ночью побежала искать доктора. Стреляли кругом, и весь город метался, бредил в смертельной огневицо, как моя Татьянка. Я бежала, перепрыгивая через головы лежавших, сгибаясь, проскальзывала под ногами качавшихся на столбах. Я бежала и думала: «Не все же на свете убиты или заняты убийством, есть люди, которые помогут мне удержать жизнь в умирающем ребенке...»

Меня схватили. Не знаю, кто показал, кто донес на меня. Пусть его распавшаяся от страха или на деньги размененная душа заживо сгниет в нем! Так или иначе, но немцы узнали, что я связана с нашей группой. И они хотели знать больше, они хотели знать все, но не узнали ничего.

Знаете, товарищи, побои врага не ощущаются, как позор и страдание. Ожидание удара гораздо постыднее, чем сама боль. Честное слово, товарищи! Страшно только ждать... Вот и придумали это унизительное самоутешение рабынь: «Милого побои недолго болят». Глупости это! Вот уж неправда! Если бы на меня когда-нибудь поднял руку человек, которого я люблю, вероятно, не перенесла бы, возненавидела бы навек, и не зажило бы никогда это во мне. А вот удары немилого, ненавистного, истязания врага, которого и за человека-то не считаешь,— они только на теле след оставляют, а сердце их не слышит. Такая в нем гордая ярость кричит, что любую боль заглушает.

Я все выдержала. Мне хочется, чтобы вы знали это. Вот Сонька говорила: «Антонина у нас чересчур деликатное создание. Больно уж много в ней этой самой чистой поэзии». Говорила: «Боюсь я за нее в случае чего». Теперь она может не сомневаться. Вот он пришел для меня — этот самый «случай чего»,— и я не подвела! Совсем одна была я среди них. Они унесли куда-то Татьянку — сказали, к врачу. А сегодня с утра у них начался базар — тащили какие-то узлы, вырывали друг у друга, ругались. Я поняла, что наши недалеко, но чувствовала, что мне уже не увидеть вас. И тогда, торопясь убраться отсюда,

они загнали меня в этот подвал и еще раз наспех попробовали вызнать кое-что. Только ничего у них не вышло. Можете быть спокойны. И знаете, что они тогда сделали? Подвели под дом мину замедленного действия — адскую машину с часовым механизмом — и очень подробно объяснили мне, как все это будет. Пройдет известное время, механизм сработает, и меня разнесет в клочья. Впрочем, возможны варианты: я могу привязать к прутику, который мне вежливо вручили, белый платок и просунуть сквозь маленькое окошечко подвала, там, наверху, под самым потолком. Это будет сигналом капитуляции. И тогда, если не будет слишком поздно, мину отъединят, и все будет в порядке. Я засмеялась прямо в лицо им. Впервые за эти дни засмеялась. Но они тоже развеселились, и через минуту в подвал спустился унтер, с плоским ртом, как у щуки. Он нес подмышкой что-то завернутое в грязное разодранное одеяло. Мне кинули этот сверток на руки, и сквозь одеяло я сразу почувствовала жар и трепет ужасно полегчавшего тельца. Это была Татьянка, моя Татьянка!

— Чтоб вам одной не было скучно,— сказал офицер.

Каюсь, не выдержала я здесь. Простите меня, товарищи. Стала просить их. Это была минута слабости... Вы все-таки поймите — мой ребенок. Я молила взять девочку отсюда, мне было все равно, куда, лишь бы ее скорее взяли из могилы, в которой я заживо погребена. Да, я бросилась на колени, заголосила по-бабьи... Я протягивала им, в руки их равнодушные совала девочку мою, а они брезгливо ее отталкивали.

Потом они ушли, тщательно проверив все запоры.

— Счастливо оставляться,— сказал мне один из них.

Не знаю, сколько прошло времени с тех пор, может быть, я не допишу даже этого слова. Смерть готова прервать меня на каждой строке... Они сказали: минут пятнадцать — двадцать, а у меня нет часов. Унтер сорвал их у меня с руки, а когда я спросила, который час, он ответил:

— На ваших без четверти капут...

Обшарила весь подвал, с рук не спуская Танюши. Нет, не выбраться отсюда. Мне так много хочется сказать вам, а времени уже так мало, и Татьянка так трудно дышит и не узнает меня, горячая, легенькая, кроха моя бедная...

Вы только не думайте, что вот, мол: какая непоколебимая, какое самообладание: еще находит в себе силы писать. Просто я не могу иначе, я хочу быть с вами в эти минуты, каждая из которых может быть последней. Я вам скажу по совести: мне очень страшно. Но стать предателем — нет! Это было бы еще в тысячу раз страшнее!

Как это омерзительно тикает! Я сперва не замечала, а когда все ушли и затихло в доме, я вдруг услышала: «Цик-цак, цик-цак, цик-цак...» Это они пустили часовой механизм мины. И звук какой-то клюющий, паршивый, с немецким акцентом. «Цик-цак, цик-цак...» Кажется, даже такое есть немецкое слово «Цикцак», «Zickzack», забыла, что оно значит. Где-то очень близко отстукивает, должно быть, мина заложена прямо здесь, подо мной. Так ясно слышно... Уши бы за-

ткнула, да на одной руке Танюшка, а в другой — карандаш. Может быть, еще успею дописать вам. Кажется мне это или на самом деле?.. Все громче делается этот «цик-цак». Ходит там маятник около самой мины, старается, торопит нашу с Танькиной гибель. Проклятая пила — туда-сюда, туда-сюда, «цик-цак, цик-цак» — и перепиливает нашу жизнь. Может быть, на волосок всего и осталось?.. Обломится — трах! И конец.

Какое-то движение на улице, шум. Неужели наши поспели? Потемнело в подвале. Кто-то закрыл собой окошко наверху.

Нет... Не наши. Это опять приходили поманить меня жизнью. Попросила не беспокоиться. Сказали, что скоро. И опять «цик-цак, цик-цак, цик-цак...»

Что это они крикнули мне сейчас сверху? Не сразу поняла. Лишь сейчас дошло до меня, что проорал этот плоскогубый с щучьей мордой... Оказывается, они только теперь присоединили мину к часовому механизму. То-то они так смело подлезли к самому подвалу. Значит, впустую стучал маятник. Значит, просто издевались еще, мало им было всего, что вытерпела я за эти два дня... А сейчас включили уже на самом деле. Я слышала, как они возились, как командовал плоскогубый.

Ушли. Тихо. И где-то, словно еще ближе: «цик-цак, цик-цак, цик-цак».

Неужели их тоже родила женщина? Просто не верится, что у таких когда-нибудь была мать, жена человека! От гиены-трупоеда повелся их подлый род! Я знаю, вы отомстите за меня, друзья. И мне не жаль их жен и матерей. Если хоть отдаленно смахивают они на своих мужень-

ков, на свое отродье,—тогда ничто не проймет их жабьих сердец. А если в них еще осталось что-то от женщины, то сами они должны содрогнуться от проклятий, которые падут на головы тех, кто качал в колыбели или нежил в постели своей этих поганцев!

...Не могла некоторое время писать, ходила по подвалу, укачивала Танюшку. Она билась у меня на руках. «Мама, что это тикает?» — «Это часы, моя маленькая. Слышишь, часики: тик и так». — «Мама, уйдем отсюда. Тут очень плохо. Мама, мы скоро уйдем отсюда?» — «Скоро, дочуленька... Скоро». — «А ты не уйдешь без меня?» — «Нет, мы вместе, вместе...»

Спит. Затихла. На улице тишина. Ушли совсем. Теперь скоро, должно быть... «Цик-цак».

Прощайте, родные мои. Вспоминайте иногда нас с Татьянкой. Я не знаю точно, на каком сейчас направлении Леша. Пусть передадут по радио в «Письмах на фронт» мой последний привет ему, любимому. А вы тоже напишите ему от себя, девочки. Расскажите, как мы орудовали в тылу у немцев. Про все напишите. Вот я представляю себе, как объявит диктор: «Старший лейтенант Радимцев Алексей Петрович, передаем вам привет от вашей жены, Антонины Кирилловны». Только я уже не услышу этого... И пусть диктор будет женщина. Она знает, как прочесть такое письмо...

Леша, милый! Прощай! Наши подробно напишут тебе обо всем, а я пишу тебе это в последние минуты и очень тороплюсь. Вот я часто обижалась на тебя, что ты вечно занят, торопишься, никогда у тебя времени нет свободного, а

сейчас, прости, у меня времени нет, истекают минуты мои.

Леша, дорогой, родной ты мой! Я знаю, тебе будет очень больно, тяжело тебе будет, когда ты узнаешь... Но ты можешь гордиться, что не зря верил мне всегда. Видишь — не обманула. Конечно, страшно мне, Леша. И так жалко Татьянку нашу. Росла бы... Она тебя часто вспоминала.

Но ты меня поймешь! Мы с тобой всегда понимали друг друга во всем! У нас много было с тобой хорошего, Леша! Помнишь, как в институте я тебя сперва трусила — важный ассистент при кафедре, а я аспирантка. Волгу помнишь? Горы у самой воды, снизу коричневые, а сверху меловая присыпка, как сдобы. Пароход идет близко от берега, совсем рядом. И мы волочим за собой длинную косую волну, а она гонит камешки по берегу. И мальчишки отчаянно гребут наперехват нашей волны. Мы стоим с тобой на самом носу парохода, и в грудь легонько упирается и гладит лицо встречный ветерок. А мы стоим, держась за руки, и впереди еще столько ветра, что всего не передышишь, и столько воды, такая даль, что ни конца, ни края, и завтра так будет, и через неделю, а мы все будем рядом, вот так, рука в руке...

А еще на Сурамском перевале,— помнишь? — руками небо трогали, когда на нас гроза навалилась. И вышел из облака человек в такой мохнатой бурке, в такой косматой шапке, будто он сам в тучу оделся, поставил перед нами корзину, полную персиков, и сказал: «Кушай на здоровье, пожалуйста, счастливая. Вижу, что счастливая, верный с тобой человек... И вся стра-

на наша была перед нами, вот как эта корзина — щедрая и радушная.

А впереди еще столько бы хорошего было! Мне все мало! Я жадная такая. Никогда бы жить не устала.

Только ничего этого не будет уже для меня... «Цик-цак» — и точка.

Как у Киплинга:

> Пройдут приливы Фенди Рейс, а я не пройду никогда,
> И не увижу следов на песке, когда спадет вода,
> И тралеров я не увижу, сносимых с отмелей прочь,
> Огней судов я не встречу, летящих по Зуиду в ночь...

Эх, сколько бы еще поглядеть хотелось на свете!.. Кстати, где этот Фенди Рейс,— так и не узнаю...

Помнишь, Леша, бывало иногда, вызовут тебя срочно в институт прямо из кино, ты вздохнешь и скажешь: «Ну, Антоша, ты уж тут досмотри и за меня...» Вот и я тебя прошу теперь, Леша, досмотри все и за меня. И порадуйся за меня. Ведь за будущее, за победу желанную, за правду эту единственную я и умираю. Вот сказала так, главное, и уже не страшно мне сейчас. Даже этот проклятый «цик-цак» уже не пугает... Знаешь, что мне это вдруг припомнилось? Как мы в Москву ездили, перевод по почте не пришел, а мы с тобой на такси поехали. И вот, я сижу одна в машине, а счетчик настукивает гривенники: «тик-так, тик-так». И я гляжу на него с ужасом — вижу: еще немножко, и защелкает он на мой последний рубль...

Нет! Я сегодня знаю: за меня, за этот «цик-цак», за все заплатят им по полному счету. В этом я уверена.

Ну, все! Перед смертью не надышишься. Сейчас положу письмо в шаль, завяжу узелком и выброшу в окошечко, там, наверху. Придут наши — увидят. А мы завернемся в одеяло с дочулей моей и даже услышать взрыва не успеем. Дай я обниму тебя на прощанье, Лешенька. Дай поцелую тебя хоть так, издали. Вот я закрыла глаза и представила себе ясно. Теперь все.

Тоня.

«Старшему лейтенанту Алексею Петровичу Радимцеву.

По установлению вашего местонахождения пересылаем вам письмо вашей жены Радимцевой А. К. Товарищ Радимцева была обнаружена при занятии нашими войсками города Н. Когда наши бойцы приблизились к дому, в подвале которого находилась запертая немцами Антонина Радимцева, на снегу была найдена завязанная в женскую шаль записка, предупреждавшая, что дом заминирован. Кроме того, услышав голоса приближавшихся красноармейцев, товарищ Радимцева стала кричать из подвала, чтобы никто не подходил к дому, так как взрыв может произойти каждое мгновение. Это, разумеется, не остановило наших бойцов, которые, пренебрегая опасностью, смело проникли в подвал и извлекли оттуда вашу жену вместе с дочерью Татьяной трех лет. Взрыв последовал через четыре с половиной минуты после этого, до прибытия вызванных подрывников, и разрушил весь дом до основания.

Сообщаем, что здоровье вашей жены и дочери Татьяны в настоящее время вполне удовлетворительно. Дочка быстро идет на поправку. У Радимцевой в первое время был нервный тик. Сейчас он прошел. Единственно, что она совершенно не выносит и сейчас, это — тиканье часов.

Военврач второго ранга Степанов».

Рассказ об отсутствующем

Когда в большом зале штаба фронта адъютант командующего, заглянув в список награжденных, назвал очередную фамилию, в одном из задних рядов поднялся невысокий человек. Кожа на его обострившихся скулах была желтоватой и прозрачной, что обычно бывает у людей, долго пролежавших в постели. Припадая на левую ногу, он шел к столу. Командующий сделал короткий шаг навстречу ему, крепко пожал награжденному руку, поздравил, протянул орденскую коробку и — отдельно орден.

Награжденный, выпрямившись, бережно принял в руки коробку и орден. Он отрывисто поблагодарил, четко повернулся, как в строю, хотя ему мешала раненая нога. Секунду он стоял в нерешительности, поглядывая то на орден, лежавший у него на ладони, то на товарищей по славе, собравшихся тут. Потом он снова выпрямился:

— Разрешите обратиться?

— Пожалуйста.

— Товарищ командующий... И вот вы, товарищи,— заговорил прерывающимся голосом награжденный, и все почувствовали, что человек очень взволнован. — Дозвольте сказать слово Вот

в этот момент моей жизни, когда я принял великую награду, хочу я высказать вам о том, кто должен бы стоять здесь, рядом со мной, кто, может быть, больше меня эту великую награду заслужил и своей молодой жизни не пощадил ради нашей воинской победы.

Он протянул сидящим в зале руку, на ладони которой поблескивал золотой ободок ордена, и обвел зал просительными глазами:

— Дозвольте мне, товарищи, свой долг выполнить перед тем, кого тут нет сейчас.

— Говорите,— сказал командующий.

— Просим,— откликнулись в зале.

И тогда он рассказал.

— Вы, наверное, слышали, товарищи,— так начал он,— какое у нас создалось положение в районе Р. Нам тогда пришлось отойти, а наша часть прикрывала отход. И тут нас немцы отсекли от своих. Куда ни подадимся, всюду нарываемся на огонь. Бьют по нас немцы из минометов, долбят лесок, где мы укрылись, из гаубиц, а опушку прочесывают автоматом. Время наше истекло, по часам выходит, что наши уже закрепились на нужном рубеже, сил противника мы оттянули на себя достаточно, время двигать на соединение. А пробиться, видим, ни в какую нельзя. И здесь оставаться дольше нет никакой возможности. Нащупал нас немец, зажал в лесу, почуял, что нас тут горсточка всего-навсего осталась, и берет нас своими клещами за горло. Вывод ясен, надо пробиваться окольным путем.

А где он, этот окольный путь? Куда направление выбрать? И командир наш, лейтенант Бу-

торин Андрей Петрович говорит: «Без разведки предварительной тут ничего не получится. Надо порыскать да пощупать, где у них щелка имеется. Если найдем, проскочим». Я, значит, сразу вызвался: «Дозвольте, — говорю, — мне попробовать, товарищ лейтенант». Внимательно посмотрел он на меня... Тут уж не в порядке рассказа, а вроде как сбоку, должен я объяснить, что мы с Андреем из одной деревни кореши. Сколько раз на рыбалку ездили на Исеть! Потом оба вместе на медеплавильном работали в Ревде. Одним словом, — друзья-товарищи... Посмотрел он на меня внимательно, нахмурился. «Хорошо, — говорит, — товарищ Задохтин, отправляйтесь. Задание вам ясно?»

И сам он вывел меня на дорогу, оглянулся, схватил меня за руку. «Ну, Коля, — говорит, — давай простимся с тобой на всякий случай. Дело, сам понимаешь смертельное. Но раз вызвался сам, то отказать тебе не смею. Выручай, Коля... Мы тут больше двух часов не продержимся: потери чересчур большие...» — «Ладно, — говорю, — Андрей, мы с тобой не в первый раз в такой оборот угодили. Через часок жди меня. Я там высмотрю, что надо. Ну, а уж если не вернусь, кланяйся там нашим, на Урале».

И вот пополз я, хоронясь по-за деревьями. Попробовал в одну сторону — нет, не пробиться, густым огнем немцы по тому участку кроют. Пополз я в обратную сторону. Там на краю лесочка овраг был, буерак такой, довольно глубоко промытый. А на той стороне буерака кустарник, и за ним дорога, поле открытое. Спустился я в овраг, решил к кустикам подобраться и сквозь

них высмотреть, что в поле делается. Стал я карабкаться по глине наверх, вдруг замечаю: над самой моей головой две босые пятки торчат. Пригляделся я, вижу: ступни маленькие, на подошвах грязь присохла и отваливается, как штукатурка, пальцы тоже грязные, поцарапанные, а мизинчик на левой ноге синей тряпочкой перевязан,— видно, пострадал где-то... Долго я глядел на эти пятки, на пальцы, которые беспокойно шевелились над моей головой. И вдруг, сам не знаю, почему, потянуло меня щекотнуть эти пятки... Даже и объяснить вам не могу, а вот подмывает и подмывает. Взял я колючую былинку да и покорябал ею легонько одну из пяток. Разом исчезли обе ноги в кустах, и на том месте, где торчали из ветвей пятки, появилась голова. Смешная такая, глаза перепуганные, безбровые, волосы лохматые, выгоревшие, а нос весь в веснушках.

— Ты чего тут? — говорю я.

— Я,— говорит,— корову ищу. Вы не видали, дядя? «Маришкой» зовут. Сама белая, а на боке черное. Один рог вниз торчит, а другого вовсе нет... Только вы, дядя, не верьте... Это я все вру... Дядя,— говорит,— вы от наших отбились?

— А это кто такие ваши? — спрашиваю.

— Ясно кто: Красная Армия... Только наши вчера за реку ушли. А вы, дядя, зачем тут? Вас немцы зацапают.

— А ну, иди-ка сюда,— говорю.— Расскажи, что тут в твоей местности делается.

Голова исчезла, опять появились ноги, и ко мне по глиняному склону на дно оврага, как на

салазках, пятками вперед, съехал мальчонка лет тринадцати.

— Дядя,— зашептал он,— вы скорее отсюда давайте куда-нибудь. Тут немцы ходят. У них вон, у того леса, четыре пушки стоят, а здесь, сбоку, минометы ихние установлены. Тут через дорогу никакого ходу нет.

— И откуда,— говорю,— ты все это знаешь?

— Как,— говорит,— откуда? Даром я, что ли, с утра наблюдаю.

Побледнел мальчонка так, что веснушек еще больше стало. А глаза блестят. «Что он такое задумал?» — соображаю я. Хотел было я его удержать, схватил за пятку, да куда там! Только мелькнули над моей головой его ноги с растопыренными чумазыми пальцами, на мизинчике синяя тряпочка, как сейчас вижу. Лежу я и прислушиваюсь. Вдруг слышу: «Стой!.. Стоять!.. Не ходить дальше!»

Заскрипели над моей головой тяжелые сапоги, я расслышал, как немец спросил:

— Ты что такое тут делал?

— Я, дяденька, корову ищу,— донесся до меня голос моего дружка. — Хорошая такая корова, сама белая, а на боке черное. Один рог вниз торчит, а другого вовсе нет. «Маришкой» зовут. Не видели?

— Какая такая корова? Ты, я вижу, хочешь болтать мне глупости. Иди сюда близко. Ты что такое лазал тут уж очень долго. Я тебя видал, как ты лазал.

— Дяденька, я корову ищу,— стал очень плаксиво тянуть мой мальчонка.

И внезапно по дороге часто застучали его легкие босые пятки.

— Стоять! Куда пошел? Назад! Буду стрелять! — закричал немец.

Над моей головой забухали тяжелые кованые сапоги. Потом раздался выстрел. Я понял: дружок мой нарочно бросился бежать в сторону от оврага, чтоб отвлечь немцев от меня. Я прислушался, задыхаясь. Снова ударил выстрел. И услышал я далекий и слабый вскрик. Потом стало очень тихо... Я зубами грыз землю, чтобы не закричать, я всей грудью на свои руки навалился, чтобы не дать им схватиться за оружие и не ударить по фашистам. А ведь нельзя мне было себя обнаруживать. Надо выполнить задание до конца. Погибнут без меня наши. Не выберутся.

Опираясь на локти, цепляясь за ветки, пополз я... После уж ничего не помню. Помню только: когда открыл глаза, увидел над собой совсем близко лицо Андрея... Ну вот, так мы и выбрались через тот овраг из лесу...

Он остановился, передохнул и медленно обвел глазами весь зал.

— Вот, товарищи, кому я жизнью своей обязан, кто нашу часть вызволить из беды помог. Понятно, стоять бы ему тут у этого стола. Да вот не вышло... И есть у меня еще одна просьба к вам... Почтим, товарищи, память дружка моего безвестного, героя безыменного... Вот даже и, как звать его, спросить не успел.

И в большом зале тихо поднялись летчики, танкисты, моряки, генералы гвардейцы — люди славных боев, герои жестоких битв, — поднялись,

чтобы почтить память маленького, никому неведомого героя, имени которого никто не знал. Молча стояли люди в зале, и каждый по-своему видел перед собой кудлатого мальчонку, веснущатого и голопятого, с синей замурзанной тряпочкой на босой ноге...

Держись, капитан!

В Москве, в Русаковской больнице, где находятся дети, изувеченные фашистами, лежит Гриша Филатов. Ему четырнадцать лет... Мать у него колхозница, отец на фронте.

Когда немцы ворвались в село Лутохино, ребята попрятались. Многие скрылись со старшими в лесу. Но вскоре хватились, что Гриши Филатова нигде нет. Его нашли потом красноармейцы в чужой избе, недалеко от дома, где жил председатель сельсовета — Суханов. Гриша был в беспамятстве. Из глубокой раны на ноге хлестала кровь.

Никто не понимал, каким образом он попал к немцам. Ведь сперва и он ушел со всеми в лесок за прудом. Что же заставило его вернуться?

Как-то в воскресенье лутохинские ребята приехали в Москву, чтобы проведать Гришу. Навестить своего капитана отправились четыре форварда из школьной команды «Восход», вместе с которыми еще этим летом Гриша составлял знаменитую пятерку нападения. Сам капитан играл в центре. Слева от него был юркий Коля Швырев, любивший в игре подолгу водить мяч своими цепкими ногами, за что его и звали «крючкотвором». По правую руку от капитана играл

сутулый и вихлястый Еремка Пасекин, которого дразнили «Еремка-поземка, дуй низом по полю» — за то, что он бегал, низко пригнувшись и волоча ноги. На левом краю действовал быстрый, точный, сообразительный Костя Бельский, снискавший прозвище «ястребок». На другом краю нападения мотался долговязый и дурашливый Савка Голопятов по кличке «балалайка». Он вечно попадал в положение «офсайда» — «вне игры», и команда по его милости получала от судьи штрафные удары.

Вместе с мальчиками увязалась и Варя Суханова, не в меру любопытная девчонка, таскавшаяся на все матчи и громче всех хлопавшая, когда выигрывал «Восход». Прошлой весной она своими руками вышила на голубой футболке капитана знак команды «Восход» — желтый полукруг над линеечкой и растопыренные розовые лучи во все стороны.

Ребята заранее списались с главным врачом, заручились особым пропуском, и им разрешили навестить раненого капитана.

В больнице пахло, как пахнет во всех больницах, чем-то едким, тревожным, специально докторским. И сразу захотелось говорить шепотом... Чистота была такая, что ребята, теснясь, долго скребли подошвы о резиновый половичок и никак не могли решиться ступить на сверкающий линолеум коридора. Потом на них надели белые халаты с тесемками. Все сделались схожими между собой, и почему-то неловко было глядеть друг на друга. «Прямо не то пекари, не то аптекари», — сострил Савка.

— Ну и не бренчи тут зря, — строгим шепо-

том остановил его Костя-ястребок,— нашел тоже место, «балалайка»...

Их ввели в светлую комнату. На окнах и тумбах стояли цветы. Но казалось, что и цветы пахнут аптекой. Ребята осторожно присели на скамьи, выкрашенные белой эмалевой краской. Только один Коля остался читать наклеенные на стене «Правила для посетителей».

Скоро докторица,— а может быть, сестра,— тоже вся в белом, ввела Гришу. На капитане был длинный больничный халат. Стуча костылями, Гриша еще неумело подскакивал на одной ноге, поджав, как показалось ребятам, другую под халат. Увидев друзей, он не улыбнулся, только покраснел и кивнул им как-то очень устало коротко остриженной головой. Ребята разом встали и, заходя друг другу за спины, стукаясь плечами, стали протягивать ему руки.

— Здравствуй, Гриша,— проговорил Костя,— это мы к тебе приехали.

Капитан подавил вздох и откашлялся, глядя в пол. Никогда так не здоровались с ним прежде. Бывало: «Здорово, Гришка». А теперь очень уж вежливы стали, как чужие. И тихие какие-то больно — надели халаты, посетители...

Докторица попросила не утомлять Гришу, не шуметь особенно, и сама ушла. Ребята проводили ее беспомощными взглядами, потом расселись. Никто не знал, что надо сперва сказать.

— Ну, как? — спросил Костя.

— Да ничего,— ответил капитан.

— Вот приехали к тебе...

— Хорошо.

— И я с ними, — виновато проговорила Варя.

— Прицепилась, как колючка, ну и никак не отстает, — пояснил Еремка.

— Как, болит? — кивнув на халат Гриши, спросил строго Костя-крючкотвор.

— Нечему уж болеть, — хмуро ответил капитан и откинул полу халата.

Варя тихонько ахнула.

— Эх ты, совсем напрочь! — не выдержал Еремка.

— Что ж ты думал, обратно пришьют? — сказал капитан, запахивая халат. — Заражение вышло. Пришлось хирургически.

— Это как же они тебя так? — осторожно спросил Костя.

— Как?.. Очень просто. Поймали. Велели говорить, кто в партизаны пошел. А я говорю: «Не знаю». Ну, они тогда завели меня в избу, где прежде Чуваловы жили... И шпагатом к столу прикрутили. А потом один взял ножовку, да как начал ногу мне... После я уж не в сознании стал...

— Даже выше коленки, — сокрушенно проговорил Костя.

— А не все равно, — выше, ниже... Одно уж...

— Ну, все-таки...

— А когда резали, слыхал? — спросил любопытный Коля.

— Это на операции-то? Нет. Прочухался, — слышу, только чешется. Я туда рукой цоп, а там уж нет ничего.

— Эх, заразы-немцы! — сказал, яростно ударив себя кулаком по колену, Савка. — Знаешь, Гришка, как ты тогда без полной памяти был, чего они у нас понаделали...

Костя-ястребок незаметно ткнул кулаком в спину Савки.

— Савка... забыл, что тебе говорили? Вот на самом деле «балалайка»!

— А я ничего такого не говорю.

— Ну и молчи.

— А энта — другая, ходит? — деловито осведомился Коля, указав на здоровую ногу капитана.

— Ходит.

Все помолчали. На улице выглянуло солнце, неуверенно зашло за облако, опять показалось, словно уже более окрепшим, и Варя почувствовала на щеке нежное весеннее тепло. Закричали вороны в больничном парке, сорвавшись с голых веток. И в комнате так посветлело, будто все тени смахнуло крылами унесшейся за окном стаи.

— Красиво у тебя тут, — промолвил Еремка, оглядывая комнату. — Обстановка.

Снова немного помолчали. Слышно было, как долбят за стеклом железный подоконник редкие мартовские капли.

— А занятия опять уже идут? — спросил капитан.

— У нас уже все идет нормально.

— По алгебре до чего уже дошли?

— Примеры решаем на уравнения с двумя неизвестными.

— Эх! — вздохнул капитан, — нагонять-то мне сколько...

— Ты только от нас не отставай на второй год, — сказал «ястребок».

— Мы тебе, знаешь, все объясним, — подхватила Варя, — это не трудно, правда, истинный

кувшинчик!.. Только сперва кажется. Там только значения подставлять надо под понятия — и все.

— А мы теперь, как немцы школу пожгли, в бане занимаемся,— рассказывал Еремка. — Савка недавно у нас в перемене как брякнется в кадку с водой! А его как раз к доске вызвали. Такого, ему жару математик задал, что он даже обсох сразу!

Все засмеялись. Капитан тоже улыбнулся. И стало легче. Но на этот раз все дело испортил Еремка.

— А у нас,— сказал он,— на пустыре, где косогор, тоже сухо почти. Снег сошел. Мы уже тренироваться начали.

Капитан болезненно нахмурился. Костя ущипнул Еремку за локоть. Все сердито смотрели на проговорившегося.

— Кого же теперь на центре поставите? — спросил капитан.

— Да, верно, Петьку Журавлева.

— Конечно, того уж удара у него сроду не будет, как твой,— поспешил добавить Еремка.

— Нет, ничего. Он может. Вы только за ним глядите, чтоб не заводился... А чего же он сам не приехал?

— Да он занятый сегодня,— быстро ответил Костя и соврал: просто ребята не взяли с собой Петьку Журавлева, чтоб капитан не расстраивался, видя, что его уже заменили.

— А я тебе чего привез! — вдруг вспомнил Коля, хитро посмотрел на всех и вытащил что-то из кармана.

— На. Дарю тебе навовсе. Это патрон, настоящий немецкий.

— И я такой же тебе привез,— сказал Еремка.

— Эх, ты! А я думал, у меня одного,— сокрушенно проговорил Костя, тоже вынимая из кармана патрон.

Савка тоже полез было в карман, но подумал, вытащил из кармана пустую руку и отмахнулся:

— У нас их столько немцы покидали! Как им двинули наши, так они побросали все.

— А я тебе — книжку! — И Варя застенчиво протянула капитану свой подарок. — «Из жизни замечательных людей». Интересная, не оторвешься, истинный кувшинчик.

— Ух, чуть не забыл! — воскликнул Савка. — Тебе Васька хромой кланялся.

— С-а-а-вка!— только и мог простонать Костя.

— Ну, и ты Ваське кланяйся,— угрюмо отозвался капитан,— скажи: Гришка хромой обратно поклон шлет, понял?

— Ну, нам время итти,— заторопился Костя,— а то на поезд не поспеем. Народу много.

Толпясь вокруг капитана, молча совали ему руки. И каждому казалось, что самого главного, ради чего и приехали, так и не сказали... Крючкотвор Коля вдруг спросил:

— А как же ты тогда на улице оказался, ты ведь вперед с нами в лесу сидел. Куда же ты пошел?

— Значит, надо было,— отрывисто ответил капитан.

— Ну, счастливо тебе!.. Скорей управляйся тут да приезжай.

— Ладно.

И они ушли, неловко теснясь в дверях и оглядываясь на Гришу. Столько собирались к капита-

ну, так нужно было повидаться, сказать что-то важное. а толком и не поговорили... Ушли. Он остался один. Тихо и пусто стало вокруг. Большая сосулька ударилась о подоконник снаружи и, разбившись, загремела внизу, оставив влажный след на железе. Прошла минута, другая. Неожиданно вернулась Варя.

— Здравствуй еще раз. Я тут платок свой не позабыла?

Капитан стоял, отвернувшись к стене. Худые плечи его, подпертые костылями, вздрагивали.

— Гриня, ты что?.. Болит у тебя? Да? — Он замотал головой, не оборачиваясь. Варя подошла к нему. — Гриня, думаешь, я не знаю, зачем ты тогда обратно из лесу пошел?

— Ну и ладно. Знай себе на здоровье. Чего ты знаешь?

— Знаю, все знаю, Гринька. Ты тогда думал, что мы с мамой в сельсовете остались, не успели... Это ты из-за меня, Гринька.

У него запылали уши.

— Еще что скажешь...

— И скажу!..

— Знаешь, так помалкивай себе в платочек, — буркнул он в стенку.

— А я вот не буду помалкивать! И не спорь лучше. Я тебя, Гриня, все равно сроду одного не кину на свете. И занятия нагоним, только приезжай скорей, поправляйся. И на пруд пойдем, где музыка.

— С хромым-то ходить не больно интересная картина.

— Дурной ты... А мы с тобой на лодке поедем, в лодке и незаметно будет. Я веток нало-

маю, кругом тебя украшу, и поедем мы по-над самым берегом, мимо всего народа, я грести стану...

— Это почему же обязательно ты? — Он даже повернулся к ней разом.

— Ты ж раненый.

— Кажется, грести-то я пошибче тебя могу.

И они малость поспорили, кто умеет лучше грести, кому сидеть на руле и как вернее править — кормовиком или веслами. Потом Варя вспомнила, что ее ждут. Она встала, выпрямилась и вдруг схватила обеими руками руку капитана, сжала ее изо всех сил в своих ладонях, откинув назад голову, и плотно зажмурилась.

— Прощай, Гриня... Приезжай скорее...— прошептала она, не открывая глаз, и сама оттолкнула его руку.

На улице ее ждали четверо.

— Ну как, отыскала платочек?.. — начал было насмешливо Савка, но Костя-ястребок грозно шагнул к нему:

— Только брякни что-нибудь...

А капитан вернулся в свою палату, поставил у койки костыли, лег и раскрыл книжку, которую подарила ему Варя. Бросилось в глаза место, обведенное синим карандашом.

«Лорд Байрон,— читал капитан,— оставшийся с детства на всю жизнь хромым, тем не менее пользовался в обществе огромным успехом и славой. Он был неутомимым путешественником, бесстрашным наездником, искусным боксером и выдающимся пловцом...»

Капитан перечитал это место три раза подряд, потом положил книгу на тумбочку, повернулся лицом к стене и принялся мечтать...

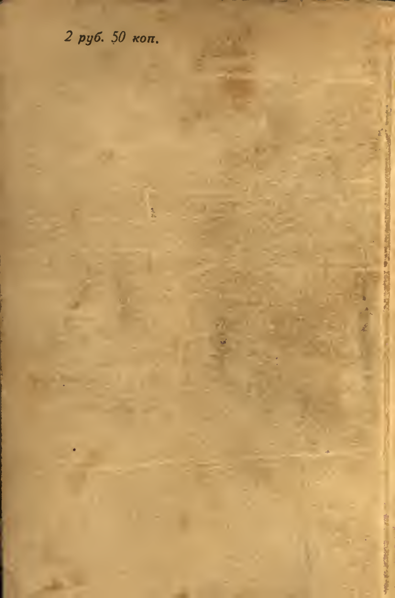
СОДЕРЖАНИЕ

Редактор *А. Эрлих.*

А2622. Подписана к печати 10/VIII 1943 г. Печ. л. 4¼, авт. л. 5,32 уч.-изд. л. 5,6. Тираж 10 000. Заказ № 908.

Цена 2 р. 50 к.

Тип. „Красный печатник“, Москва, ул. 25 Октября, д. 5.



2 руб. 50 коп.